

Марк Твен

# Принц и нищий



## Annotation

«Я расскажу вам одну сказку, как мне рассказывал ее человек, слышавший ее от своего отца, который слышал ее от своего отца, а тот – от своего, и так далее. Лет триста и более переходила она от отца к сыну и таким образом дошла и до нас. То, что в ней рассказывается, – быть может, история, а может быть – легенда, предание. Быть может, все это было, а может быть, и не было; но – могло быть. Быть может, мудрые и ученые верили в старину этой сказке; а может быть, только неученые и простодушные верили ей и любили ее...»

---

- [Марк Твен](#)
  - 
  - 
  - [Предисловие автора](#)
  - [Глава I](#)
  - [Глава II](#)
  - [Глава III](#)
  - [Глава IV](#)
  - [Глава V](#)
  - [Глава VI](#)
  - [Глава VII](#)
  - [Глава VIII](#)
  - [Глава IX](#)
  - [Глава X](#)
  - [Глава XI](#)
  - [Глава XII](#)
  - [Глава XIII](#)
  - [Глава XIV](#)
  - [Глава XV](#)
  - [Глава XVI](#)
  - [Глава XVII](#)
  - [Глава XVIII](#)
  - [Глава XIX](#)
  - [Глава XX](#)
  - [Глава XXI](#)
  - [Глава XXII](#)

- [Глава XXIII](#)
  - [Глава XXIV](#)
  - [Глава XXV](#)
  - [Глава XXVI](#)
  - [Глава XXVII](#)
  - [Глава XXVIII](#)
  - [Глава XXIX](#)
  - [Глава XXX](#)
  - [Глава XXXI](#)
  - [Глава XXXII](#)
  - [Глава XXXIII](#)
  - [Заключение](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
-

# Марк Твен

## Принц и нищий

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес  
([www.litres.ru](http://www.litres.ru))

\* \* \*

*...Благословенье в милости  
Сугубое: она благословляет  
Тех, кто дает и кто берет ее.  
Сильней всего она в руках у сильных;  
Она – царям приличнее венца.*

*Шекспир «Венецианский купец»*

## Предисловие автора

Я расскажу вам одну сказку, как мне рассказывал ее человек, слышавший ее от своего отца, который слышал ее от своего отца, а тот – от своего, и так далее. Лет триста и более переходила она от отца к сыну и таким образом дошла и до нас. То, что в ней рассказывается, – быть может, история, а может быть – легенда, предание. Быть может, все это было, а может быть, и не было; но – могло быть. Быть может, мудрые и ученые верили в старину этой сказке; а может быть, только неученые и простодушные верили ей и любили ее.

*Марк Твен*

# Глава I

## Рождение принца и нищего

В древнем городе Лондоне, в один осенний день второй половины шестнадцатого столетия, в бедной семье по фамилии Канти родился ребенок – мальчик, которому ни кто не был рад. В тот же самый день в знатной семье Тюдоров родился другой английский мальчик, которому все были рады и которого давно желали и ждали. Вся Англия его ждала. Англия так страстно ждала его, так надеялась на его появление, так горячо вымаливала его у Бога, что когда он наконец появился на свет, народ чуть не обезумел от радости. Люди, почти не знакомые между собой, встречаясь на улицах, обнимались, целовались и плакали от восторга. Этот день был для всех настоящим праздником: знатный и простолюдин, богач и бедняк, – все пировали, плясали, пели и пили на радостях. Так продолжалось несколько дней и ночей. Днем любо было взглянуть на Лондон с его развевающимися на всех балконах и крышах пестрыми флагами и с пышными, торжественно выступающими по улицам процессиям. Ночью зрелище тоже стоило того, чтобы на него посмотреть: на всех углах и перекрестках пылали яркие потешные огни, а кругом теснились толпы ликующего народа. Во всей Англии только и было толков, что о новорожденном Эдуарде Тюдоре, принце Валлийском; а он тем временем лежал себе преспокойно в шелке и в атласе, не подозревая даже, какой он вызвал переполох, и совершенно равнодушно глядел, как вокруг него теснились и как с ним нянчились знатнейшие лорды и леди. Но никто в целой Англии не говорил о появлении на свет Божий другого мальчика – Тома Канти, который лежал, завернутый в свои жалкие лохмотья, – никто, кроме семьи бедняков, для которых его появление было только лишней обузой.

## Глава II

### Детство Тома

Прошло несколько лет.

В ту пору Лондон насчитывал уже пятнадцать столетий своего существования и для того времени был большим городом. В нем числилось свыше ста тысяч жителей. Улицы были узкие, кривые и грязные, особенно в той части города, где жил Том Канти, не далеко от Лондонского моста. Дома большею частью были деревянные, причем второй этаж выступал над первым, а третий над вторым, так что чем выше становились дома, тем они больше раздавались вширь. Остовы домов строились из толстых, крест-накрест сложенных балок, промежутки закладывались прочным строительным материалом и покрывались штукатуркой, а сами балки красились по вкусу владельцев, в красную, синюю или черную краску, что придавало домам очень живописный вид. Окна делались узкие; рамы – с мелким косым переплетом и такими же мелкими стеклами, – отворялись наружу, на петлях, как двери.

Дом, в котором жил отец Тома, помещался в грязнейшей трущобе, именуемой Оффаль-Корт, за Пуддинг-Лэном. Это была небольшая, полуразвалившаяся лачуга, битком набитая бедняками. Семейство Канти занимало комнату на третьем этаже. В углу у отца с матерью было прилажено нечто вроде постели; что же касается Тома, его бабушки и двух сестер, Бетти и Наин, то они не были так ограничены в своих владениях, как супруги Канти: в их распоряжении оставался весь пол, и они могли спать, где им заблагорассудится. Им же принадлежали обрывки двух-трех одеял и несколько охапок старой полусгнившей соломы; но при всем желании этот хлам никак нельзя было назвать постелями. На день все это сваливалось куда-нибудь в угол, в одну общую кучу, а на ночь разбиралось младшими членами семьи для спанья.

Бетти и Нани были пятнадцатилетние девочки, близнецы-подростки, добрые, но изумительно грязные и оборванные, и притом круглые невежды. Точь-в-точь такая же была их мать. Зато отец с бабушкой были сущие дьяволы. Они напивались при всяком удобном случае и пьяные вечно дрались между собой или с кем придется; и пьяные, и трезвые, оба только и делали, что ругались. Джон Канти жил воровством, бабушка нищенством, из детей они сделали нищих, хотя при всем желании им не удавалось

сделать из них воров. Среди отребья, наполнявшего дом, жил старый добряк священник, отставленный королем от службы с пенсией в несколько фартингов. Он часто зазывал к себе ребятишек и потихоньку наставлял их добру. Таким образом отец Эндрю выучил Тома грамоте и немного латыни; он охотно выучил бы и девочек чему мог, но те наотрез отказались учиться, боясь своих подруг, которые, само собой разумеется, подняли бы их на смех за такую нелепую затею.

Весь Оффаль-Корт был, в сущности, таким же вертепом, как и жилище семейства Канти. Пьянство, брань, буйство и ссоры повторялись здесь изо дня в день, не прекращаясь ни днем, ни ночью. Пробитые головы ни для кого не были в диковинку, как был не в диковинку и голод. И, однако, Том не был несчастным ребенком. Правда, иной раз ему приходилось очень круто, но он этого не признавал: всем мальчикам Оффаль-Корта жилось не лучше, и Том думал, что это в порядке вещей. По вечерам, когда мальчик возвращался с пустыми руками, он уже знал наперед, что отец непременно изругает и отколотит его, да и бабушка не даст ему спуска; он знал, что ночью, когда все уснут, его вечно голодная мать проберется к нему в темноте и сунет ему потихоньку черствую корку или какие-нибудь объедки, которые она, урвав от себя, приберегла для него, несмотря на то, что уже не раз уличалась в такого рода изменнических поступках и терпела за это нещадные побои от мужа.

Нет, Том далеко не был несчастлив: он даже довольно весело проводил время, особенно летом. Он просил милостыню ровно настолько, чтобы избежать побоев, так как законы против нищенства в то время были очень строги, а наказания тяжки. Большую часть времени он проводил, слушая чудные рассказы отца Эндрю: старинные легенды о великанах и феях, о карликах и чародеях, о волшебных замках и о могущественных принцах и королях. Голова мальчика была полна всех этих чудес, и часто по ночам, лежа в темноте на жесткой соломе, измученный, усталый, голодный и избитый, он забывал боль и горе, уносясь воображением в волшебную страну роскошных дворцов, населенных великолепными принцами. Понемногу им овладело страстное желание, преследовавшее его днем и ночью, – желание во что бы то ни стало увидеть собственными глазами настоящего принца. Он попробовал даже заговорить об этом со своими приятелями, оффаль-кордскими мальчишками, но те только подняли его на смех, и Том никогда и никому больше об этом не заикался. Он часто зачитывался старинными книгами священника и просил доброго старика растолковать ему непонятные места. Мало-помалу чтение и постоянные мечты произвели в нем заметную перемену: он стал стыдиться своих



грязных лохмотьев, и у него появилось желание одеваться опрятнее и лучше. Правда, он по-прежнему охотно играл и валялся в грязи; но теперь, плескаясь и болтаясь в Темзе, он делал это не только ради забавы, но еще и потому, что эти купания делали его чище.

Том умел находить себе и другие забавы, то в Чипсайте, где у майского шеста часто проводились призовые игры, то где-нибудь на ярмарке. Иногда ему удавалось вместе с остальным Лондоном полюбоваться военным парадом; обыкновенно это случалось, когда какой-нибудь неудачно прославившийся бедняк препровождался в Тауэр сухим путем или водою. Однажды летом ему удалось даже видеть в Смитфильде сожжение на костре несчастной Анны Аскью и с нею еще трех человек и слышать обращенную к осужденным проповедь какого-то отставного епископа, которою, впрочем, Том нисколько не интересовался. Да, в общем, жизнь Тома шла довольно весело и разнообразно.

Постепенно чтение и мечты так сильно овладели воображением мальчика, что он невольно стал и сам изображать из себя принца. Его манеры и речи сделались уморительно важными и церемонными, к великому изумлению и восторгу его приятелей-мальчишек. Однако влияние его на юный оффаль-кордский народ росло с каждым днем, и скоро ребятишки стали смотреть на него, как на какое-то чудо, как на высшее существо. Да и как же иначе? Он так много знал, делал и говорил такие изумительные вещи, был такой умный и ученый! Изречения Тома, выходки Тома были у всех на устах; ребята спешили сообщить их старшим, и скоро старшие тоже заинтересовались Томом и стали смотреть на него, как на поразительно одаренного, необыкновенного ребенка. Взрослые люди стали приходить к нему советоваться и зачастую диву давались его разумным и толковым ответам. Таким образом, Том сделался настоящим героем для всех, кто его знал, кроме домашних, которые не находили в нем ничего необыкновенного.

Вскоре мальчик составил себе помаленьку целый королевский двор. Разумеется, он был принцем, а его друзья изображали телохранителей, камергеров, конюших, придворных, лордов и леди и членов королевской фамилии. Каждый день поутру самозванного принца встречали по церемониалу, вычитанному Томом из книг; каждый день в совете, который он учредил, обсуждались государственные дела несуществующего королевства, и каждый день его высочество, мнимый король, отдавал приказы своим воображаемым войскам, флоту и наместникам.

Затем самозванный король, принц в лохмотьях, отправлялся в свой обычный поход за подаванием в несколько фартингов; вернувшись домой,

глодал свою черствую корку, выносил обычные пинки и побои и во сне, растянувшись на жесткой соломе, наслаждался своим воображаемым величием. Между тем страстное желание Тома хоть разок увидеть своими глазами настоящего принца не только не покидало его, но разрасталось изо дня в день, с часу на час, так что наконец поглотило в нем все другие желания и помыслы и сделалось его единственной мечтой.

В один январский день, во время своих обычных скитаний за подаванием, Том, босой и продрогший, уныло бродил уже несколько часов кряду вокруг Минсинг-Лэна и Литль-Ист-Чипа, с завистью поглядывая на окна бакалейных лавок и мечтая о соблазнительных пирожках с ветчиной и о других восхитительных лакомствах, выставленных в окнах для соблазна рода человеческого. Все эти прелести казались ему доступными разве только для ангелов, – по крайней мере, насколько он мог судить по запаху: вкуса подобных соблазнительных вещей Том не знал, потому что ему еще ни разу не выпадало счастье попробовать их.

На дворе моросил холодный дождь; день был печальный, пасмурный, туманный. К вечеру Том вернулся домой такой промокший, измученный и голодный, что даже отец с бабушкой пожалели его – по-своему, конечно, – и, наскоро угостив его тумаком в спину, отправили спать. Голод, усталость, ссоры и шум в доме долго мешали Тому уснуть, пока разыгравшееся воображение не унесло его наконец далеко в волшебную страну, и он уснул в обществе принцев, с ног до головы разодетых в золото и драгоценные камни. Принцы жили в роскошном дворце, и им с низкими поклонами прислуживало множество слуг, чуть не на лету подхватывавших и исполнявших каждое их приказание.

Итак, Том уснул, и ему, как обычно, приснилось, что он-то и есть маленький принц.

Целую ночь Том упивался своим величием, ходил по роскошным, светлым залам, окруженный толпой знатных лордов и леди, вдыхая чудные ароматы, слушал волшебную музыку и на почтительные поклоны расступавшейся перед ним толпы отвечал то благосклонной улыбкой, то царственным наклоном головы.

Утром, когда он проснулся и увидел окружавшую его нищету, действие его сонных грез не замедлило сказаться: жизнь показалась ему во сто крат горше. Сердце его больно сжалось, и он залился слезами.

## Глава III

### Том встречает принца

Том проснулся голодный и холодный и вышел из дома с головой, отуманенной призрачным великолепием его ночных грез. Он рассеянно брел по улицам, сам не зная, куда идет, и ничего не замечая кругом. Прохожие толкали и бранили его, но мальчик так углубился в свои размышления, что ничего не видел и не замечал. Он дошел, наконец, до Темпль-Бара. В своих скитаниях Том никогда еще не заходил дальше этого места. Он на минуту приостановился, как будто что-то соображая, но сейчас же впал в прежнюю задумчивость и побрел дальше. Скоро он очутился за стенами Лондона. В то время Стрэнд уже не был проселочной дорогой и даже назывался улицей, хотя, надо сознаться, это была довольно странная улица: по одну ее сторону тянулся почти сплошной ряд домов, между тем как по другой стороне были разбросаны на далеком друг от друга расстоянии великолепные дома-громады – дворцы богатой знати, с большими роскошными садами, спускавшимися к реке. Теперь от этих садов не осталось и следа: все они сплошь застроены уродливыми зданиями из камня и кирпича.

Том добрался до деревни Черинг и присел отдохнуть у подножия чудного креста, воздвигнутого в давно прошедшие времена одним развенчанным королем; потом он опять лениво побрел по прекрасной тенистой дороге, миновал роскошный дворец кардинала и направился к другому, еще более роскошному и величественному дворцу, – к Вестминстеру. Остолбнев от восторга, Том уставился на это чудо архитектуры, на огромные флигели в виде крыльев, на грозные бастионы и башни, на высокие каменные ворота с золочеными решетками, целым рядом колоссальных гранитных львов и другими символами и атрибутами королевской власти и могущества. Неужели же исполнилась наконец его пламенная мечта? Вот он, королевский дворец. Неужели Господь не поможет ему увидеть принца – живого, настоящего принца?

По обе стороны позолоченных решетчатых ворот стояли, как две живые статуи, вытянувшиеся в струнку, статные, неподвижные часовые, с головы до ног закованные в сверкающую стальную броню. На почтительном расстоянии от них топталась кучка народа – деревенских жителей и горожан – поджидая удобного случая хоть одним глазком

взглянуть на кого-нибудь из королевского дома. Богатые экипажи, в которых сидели разряженные господа, а на запятках стояли такие же разряженные слуги, то въезжали, то выезжали в другие роскошные ворота дворцовой ограды.

Бедняжка Том, в своих лохмотьях, робко протиснулся вперед сквозь толпу, со страхом озираясь на грозных часовых, взглянул сквозь позолоченную решетку, и то, что он там увидел, заставило его чуть не обезуметь от радости.

Во дворе, за оградой, стоял красивый, смуглый, статный мальчик. Он был весь в шелке, в атласе и драгоценных камнях; на боку у него висела маленькая, украшенная алмазами шпага и такой же кинжал; ноги были обуты в прелестные туфельки с красными каблучками, а на голове красовалась изящная малиновая шапочка, с перьями и с алмазным аграфом. Мальчика окружали какие-то нарядные господа, должно быть, его слуги. Вот он, наконец, – принц, настоящий живой принц из плоти, – в этом не могло быть никакого сомнения. Наконец-то сбылась горячая, заветная мечта мальчика-оборванца!

У Тома чуть сердце не выскочило от радости, и глаза широко раскрылись от удивления и восторга. Всякий страх, всякая осмотрительность у него исчезли, уступив место одному страстному желанию: поближе подойти к принцу, хорошенько на него наглядеться. Сам не сознавая, что он делает, Том прижался лицом к золоченой решетке ворот, но в тот же миг один из часовых грубо его оттолкнул, и он кубарем отлетел в толпу зевак.

– В другой раз будь осторожней, бесенок! – сказал часовой.

В толпе поднялся хохот, посыпались остроты. В ту же минуту молодой принц бросился к решетке с пылающим лицом и сверкающими гневом глазами и крикнул:

– Как ты смеешь так обращаться с бедным мальчишкой! Как смеешь быть таким грубым, хотя бы с самым последним из подданных моего отца! Сейчас же отвори решетку – слышишь? – ипусти его!

Посмотрели бы вы на восторг изменчивой толпы! Посмотрели бы, как полетели в воздух шапки! Послушали бы, каким дружным криком: «Да здравствует принц Валлийский!» – огласился воздух.

Часовые сделали на караул своими алебардами, сейчас же отперли ворота и снова взяли на караул, когда маленький принц нищеты в своих развевающихся лохмотьях бросился навстречу принцу безграничного довольства и роскоши.

– Какой у тебя усталый вид! Ты, верно, голоден? Тебя обидели...

Ступай за мной, – сказал Эдуард Тюдор.

С полдюжины человек из присутствующих великолепных джентльменов бросилось было вперед, бог весть зачем, – вероятно, чтобы вмешаться в дело. Но одного царственного движения руки принца было довольно, чтоб они остановились как вкопанные. Между тем Эдуард ввел Тома в роскошную комнату, которую он назвал своим кабинетом. По его приказанию на столе немедленно появилась закуска, какой Том отродясь не видывал. О такой роскоши он знал разве только из своих книжек. Принц с истинно царскою добротою и деликатностью выслал всех слуг, чтобы они своим чопорным присутствием не смущали его оборвыша-гостя; сам же подсел к нему поближе и, пока Том ел, засыпал его вопросами:

- Как тебя зовут, мальчуган?
  - Том Канти, сэр... ваша милость.
  - Странное имя. Где ты живешь?
  - В городе. В Оффаль-Корде, за Пуддинг-Лэном.
  - Оффаль-Корд! Престранное название! А родители у тебя есть?
  - Не только родители, сэр, но и бабушка, которую я терпеть не могу, – прости мне, Господи! – и сестры-двойняшки, Нани и Бетти.
  - Что же, твоя бабушка дурно с тобой обращается, что ли?
  - Не со мной одним; она со всеми такая, с вашего позволения, сэр.
- Презлющая старуха: только и знает, что ругается да дерется.
- Неужели ты хочешь сказать, что она тебя бьет?
  - Только тогда и не бьет, когда спит или мертвецки пьяна. А как проснется, так и начнет тузить да таскать за волосы.
  - Бьет тебя? – воскликнул принц, и глаза его сверкнули гневом.
  - Еще как, сэр!
  - Тебя! Такого худенького и маленького... Так слушай: она сегодня же будет в Тауэре. Король, мой отец, прикажет...
  - Но вы забываете, сэр, что она простолюдинка, нищая, а в Тауэр сажают только знатных вельмож.
  - Да, да, это правда. Я об этом совсем позабыл. Ну, все равно; я это обдумаю, и будь спокоен, уж я придумаю для нее наказание. Хорошо... Ну, а отец у тебя добрый?
  - Не добрее бабушки, сэр.
  - Должно быть – все отцы одинаковы: у моего отца нрав тоже крутенок. Рука у него претяжелая; только меня он никогда и пальцем не трогает, а бранить – часто бранит, надо признаться... Скажи, а мать у тебя добрая?
  - Мать очень добрая, сэр, никогда меня не обижает. Наин и Бетти тоже

предобрые девочки.

– Сколько им лет?

– Пятнадцать исполнилось, ваша милость.

– Леди Елизавете, моей сестре, четырнадцать, а кузина, леди Грей, – моя ровесница, и обе прехорошенькие и тоже милые девочки; зато другая моя сестра, леди Мэри, с ее суровым лицом и... Послушай, разве твои сестры тоже запрещают своим служанкам смеяться, чтобы не погубить свою душу?

– Служанкам! Неужели вы думаете, сэр, что у них есть служанки?

– А разве нет? – спросил принц, с недоумением глядя на своего гостя. – Ведь надо же их раздеть на ночь и одеть поутру, когда они встанут?

– Это еще к чему? Не могут же они спать без платья, как звери?

– Как без платья? Разве на них только и есть одежды, что одно платье?

– А то как же, ваша милость? Да и зачем им больше? Ведь у каждой из них только по одному телу.

– Вот так потеха! Прости, голубчик, я не хотел тебя обидеть. Послушай, теперь у твоих сестер будет много-много платьев и всякой одежды: я прикажу, – и мой казначей позаботится об этом. Нет-нет, благодарить тут решительно не за что, это сущие пустяки. Ты преинтересно рассказываешь и очень мне нравишься. Учился ты?

– Не знаю, как и сказать, сэр. Добрый отец Эндрю учил меня кое-чему по своим книгам.

– По-латыни знаешь?

– Кажется, что очень мало, сэр.

– Непременно учись, мальчуган; латынь трудно дается только вначале; греческий – тот гораздо труднее. А вот для моей сестры, леди Елизаветы, и для моей кузины нет, кажется, ничего трудного. Ты бы только их послушал!.. Но расскажи мне лучше об Оффаль-Корде. Весело тебе живется?

– По правде сказать, ваша милость, очень весело, когда я не голоден. Иной раз к нам заходит Петрушка или фокусник с обезьянами, – препотешные, скажу вам, зверьки, и как разодеты! Они представляют войну, дерутся, стреляют, пока не окажутся убитыми все до одного. Преинтересно, и стоит-то всего один фартинг, хотя, поверьте, сэр, заработать фартинг иной раз вовсе нелегкая штука.

– Ну, рассказывай еще что-нибудь.

– Иногда мы, оффаль-кордские ребята, деремся на палках, как настоящие подмастерья.

– Вот чудесно-то! Мне очень нравится! – воскликнул принц с

загоревшимися глазами. – Ну, как же вы еще играете?

– Бегаем взапуски, сэр, кто кого перегонит.

– Это тоже недурно. Еще что?

– Летом плаваем и плещемся в канавах или в реке, сэр; гоняемся вплавь друг за дружкой, брызгаемся водой, ныряем и ловим друг друга, стараясь окунуть в воду, и...

– Вот прелесть! Да я бы отдал все отцовское королевство за одну такую игру! Что же вы еще делаете? Рассказывай поскорей!

– Еще, случается, поем и пляшем вокруг майского шеста в Чипсайте; а то еще роемся в песке, или лепим пирожки из грязи, – вот это так весело! Для игры нет ничего лучше грязи. Уж зато как же мы в ней копаемся, не в обиду будь сказано вашей милости!

– Ах, что за прелесть! Да может ли быть что-нибудь лучше! Кажется, если б я мог обуться да одеться, как ты, да хоть разок – один только разок – так поиграть, – только, конечно, чтобы мне никто не мешал и никто бы меня не останавливал, – я бы охотно отдал свою корону.

– А мне так вот кажется, что если бы мне разок – один только разок – одеться, как вы, ваша милость, я бы просто...

– Тебе этого хочется? Это легко устроить. Снимай свое тряпье и надевай мое платье – слышишь! Правда, это всего на минутку, но я буду так рад! Скорей же, скорей! Надо успеть опять переодеться, пока никто не пришел и не помешал.

Через несколько минут принц Валлийский облекся в грязные лохмотья Тома, а нищий, принц-оборвыш, стоял в блестящем наряде королевского сына. Мальчики подошли к зеркалу, стали рядом и – о диво! – им показалось, что они и не думали меняться платьем. Оторопев, взглянули они друг на друга, опять посмотрелись в зеркало и опять уставились друг на друга.

– Вот так штука! Как тебе это кажется?

– Ах, ваша милость, я не смею сказать. Не заставляйте меня отвечать; право, я не смею.

– Зато я смею и скажу. У тебя совершенно те же волосы, те же глаза, та же фигура, те же манеры, голос, что и у меня; словом, мы друг на друга похожи как две капли воды. Если бы не платье, никто не отличил бы тебя от принца Валлийского. И теперь, когда на мне твои лохмотья, я, право, кажется, еще сильнее чувствую, как оскорбил тебя тот грубый солдат. Это что у тебя на руке? Знак от его удара?

– Да, но это сущий пустяк, не стоит обращать внимание; и знаете ли, ваша милость, бедный часовой не так...

– Молчи! Это был постыдный, жестокий поступок, – крикнул маленький принц, топнув босой ногой. – И если бы король... Постой! Подожди здесь, пока я вернусь, – я тебе приказываю!

С этими словами принц схватил со стола какой-то предмет, поспешно спрятал его, выбежал из комнаты, захлопнул за собою дверь и в своих развевающихся лохмотьях с пылающим лицом и сверкающими гневом глазами пустился бежать по дворцовым садам. Подбежав к решетке главных ворот, он схватился руками за вызолоченные перекладины и стал их трясти с криком:

– Отопри! Сейчас же отопри, слышишь?

Часовой – тот самый, который толкнул Тома, – немедленно повиновался; но когда принц с яростью бросился на него, он залепил ему такого здоровенного тумака в ухо, что мальчик кубарем откатился на середину дороги.

– Вот тебе, паршивец! Это тебе за то, что мне из-за тебя досталось от Его Высочества, – сказал солдат.

Толпа загоготала. Принц, в грязи, вскочил на ноги и прерывающимся от гнева голосом закричал:

– Как ты смеешь бить принца Валлийского? Да знаешь ли ты, что моя особа священна и что тебя завтра же повесят за то, что ты осмелился поднять на меня руку?

В ответ на эти слова солдат пресерьезно сделал на караул и сказал насмешливым тоном:

– Приветствую Ваше Высочество! – И потом сердито добавил: – Прочь с дороги!.. И чтобы духу твоего здесь не было, шальной постреленок!

Толпа, хохоча, окружила бедного маленького принца и долго гналась за ним по дороге с гиком и криком:

– Дорогу Его Высочеству! Дорогу, дорогу принцу Валлийскому!



## Глава IV

### Начало бедствий принца

После нескольких часов упорного преследования толпа мало-помалу стала редеть и наконец оставила маленького принца в покое. Пока мальчик был еще в силах яростно отбиваться от своих мучителей, грозить им своим королевским гневом и с царским величием отдавать приказания, до тех пор он служил забавной потехой; но как только силы ему изменили и усталость заставила его замолчать, он потерял для них всякий интерес, и наконец все, один за другим, отстали от него в надежде найти где-нибудь в другом месте более интересную забаву. Как только маленький принц остался один, он осмотрелся кругом, но не узнал местности. Очевидно, он был где-то на окраине Лондона – вот все, что он знал. Он побрел наобум, сам не зная куда; скоро дома стали редеть, и прохожих попадалось все меньше и меньше. Мальчик обмыл свои окровавленные ноги в ручье (протекавшем в той местности, которая теперь называется Фаррингтон-стрит), немного отдохнул и снова тронулся в путь. Наконец он очутился на огромном пустыре; здесь было разбросано несколько домов и высилась большая церковь. Принц сейчас же узнал эту церковь. Вся она была заставлена лесами; кругом копошились рабочие – очевидно, шли большие перестройки. Принц вздохнул свободнее: наконец-то кончатся его мучения!

«Это старая церковь «Серого Братства», которую король, мой отец, отобрал у монахов и отдал под приют для бедных, покинутых сирот; теперь она называется «Церковь Христова», – подумал принц. – Конечно, здесь охотно окажут услугу сыну того, кто облагодетельствовал их на всю жизнь, – тем более что этот сын – такой же несчастный и покинутый, как и те, кто нашел или когда-нибудь найдет здесь приют».

Через минуту принц очутился в шумной толпе мальчуганов; они бегали, прыгали, кувыркались, играли в мяч и в чехарду – словом, забавлялись, кто во что горазд. Мальчики были одеты все одинаково, по моде того времени, установленной для мелких чинов духовного звания и для подмастерьев. У всех на голове были черные, плоские, маленькие, величиною с блюдце, шапочки, в которых не было ни пользы (потому что они были слишком малы и не прикрывали всей головы), ни тем более красоты. Из-под шапочки прямо, без пробора, падали на лоб подстриженные в кружок волосы; шею обхватывал большой воротник в

виде брыжей; синий, длинный, до колен, плотно облегающий стан камзол с пышными рукавами, широкий красный кушак, ярко-желтые чулки с подвязками выше колен и открытые башмаки с большими металлическими пряжками довершали этот костюм. Все вместе выходило довольно безобразно.

Мальчики сейчас же бросили играть и обступили принца, который с врожденным достоинством обратился к ним с такой речью:

– Ребята, ступайте-ка, скажите вашему начальнику, что Эдуард, принц Валлийский, хочет его видеть.

Ответом на эти слова был оглушительный взрыв хохота; один мальчик грубо крикнул принцу:

– Уж не ты ли, оборвыш, посланный Его Высочества?

Принц гневно вспыхнул и сделал движение правой рукой, как будто хватаясь за шпагу, которой, впрочем, не оказалось. Этот жест не ускользнул от мальчиков; вся ватага опять захохотала, а один крикнул товарищам:

– Видели, братцы? Схватился за шпагу, точно настоящий принц!

Эта шутка была встречена новым взрывом смеха. Бедный Эдуард гордо выпрямился.

– Я в самом деле принц, и вам, пользующимся благодеяниями короля, моего отца, стыдно так обращаться со мной.

Хохот сделался оглушительным. Мальчик, который первый заговорил с принцем, крикнул товарищам:

– Эй вы, свиньи, рабы, нищие выкормки царственного его родителя! Что ж вы стоите, разинув рты? На колени, скорей на колени! Кланяйтесь и благодарите принца в лохмотьях!

Вся ватага с гиком и визгом бросилась на колени, насмешливо простирая к мальчику руки. Принц гневно оттолкнул ногой ближайшего.

– Вот тебе! – крикнул он, вне себя от гнева. – Будет с тебя на сегодня! Завтра тебя повесят!

Это уже переходило границы всякой шутки. Смех разом смолк и в один миг сменился яростью.

Послышались голоса:

– Держите его! В пруд его! Тащи его к водопою! Где собаки? Сюда, Лев! Сюда, Фангс!

Затем произошло нечто неслыханное: плебеи подняли руку на священную особу наследника английского престола и стали травить его собаками.

Когда настала ночь, принц опять очутился в самой населенной части города. Он был весь избит и окровавлен, а лохмотья его – сплошь

забрызганы грязью. Он шел все дальше, вперед и вперед, ошеломленный и измученный, еле передвигая от усталости ноги. Он больше ни к кому не обращался с вопросами, зная, что все равно не получит ответа, а только навлечет на себя новую брань. Он шел, повторяя потихоньку: «Оффаль-Корд, Оффаль-Корд... как бы не забыть. Если мне удастся найти это место, пока я еще в силах двигаться, – я спасен. Эти люди, конечно, не откажутся отвести меня во дворец и удостоверить, что я не их сын. Узнают же меня, наконец, и я опять сделаюсь самим собою!» Минутами ему вспоминались побои, которые он вынес недавно в «Приюте Христа», и он говорил себе: «Когда я сделаюсь королем, я дам им не только приют и кусок хлеба, но непременно велю их учить. Для человека мало быть сытым; надо, чтоб у него были разум и сердце. Постараюсь это хорошенько запомнить, чтобы нынешний урок не пропал даром ни для меня, ни для моего народа. Только ученье облагораживает человека и делает его добрым и милосердным».

Фонари на улицах слабо мерцали; пошел дождик, поднялся ветер, наступила холодная, ненастная ночь. Бедный бездомный принц, бесприютный наследник английского престола, шел все вперед, углубляясь в запутанные лабиринты города, кишасшие столичной голью и беднотой.

Вдруг какой-то пьяный верзила схватил его за шиворот с криком:

– Ах, так ты опять шататься по ночам! Опять возвращаешься домой без гроша, – готов побожиться! Если так, смотри – берегись! – я тебе все кости переломаю, не будь я Джон Канти!

Принц вырвался из рук пьяницы и невольно с отвращением отряхнулся.

– Как, неужели ты его отец? Слава Богу, теперь я спасен! Мы вместе сходим за ним, и я вернусь домой.

– Что-о? Так вот ты как? От родного отца отрекаться? Постой же, я тебе сейчас покажу, чей я отец...

– Ах, не шути ты так, не смейся надо мной! Скорей, скорей!.. Разве ты не видишь, как я избит, как измучен? Я больше не в силах терпеть. Скорей отведи меня к королю, моему отцу; он наградит тебя так, как тебе и во сне не снилось. Поверь же мне! Я говорю правду, чистую правду! Не трогай меня... спаси меня! Спаси принца Валлийского!

Подгулявший верзила уставился на мальчика оторопелыми глазами и пробурчал себе под нос:

– Вишь ты, совсем рехнулся парень! – И еще крепче ухватив его за шиворот, он выругался и с хриплым смехом добавил: – Ну, да уж там рехнулся ли, нет ли, а порки тебе, братец, не избежать, – это верно!

С этими словами он потащил за собой перепуганного, отчаянно

отбивавшегося принца и скрылся с ним в каком-то грязном дворе под громкий хохот сопровождавшей их довольной толпы зевак.

## Глава V

### Том в роли принца

Оставшись один в кабинете принца, Том Канти воспользовался удобным случаем, чтобы полюбоваться своим роскошным костюмом. Он поворачивался во все стороны перед огромным зеркалом и даже прошелся несколько раз, стараясь подражать величественной осанке принца. Вдоволь налюбовавшись собою, он обнажил свою красивую шпагу, раскланялся, поцеловал и прижал шпагу к груди, как сделал недавно какой-то знатный рыцарь (Том сам это видел), отдавая честь начальнику Тауэра, которому он передавал великих лордов Норфолька и Серрея для заключения их в тюрьму. Вложив шпагу в ножны, Том занялся кинжалом в оправе из драгоценных камней, потом принялся разглядывать роскошное убранство комнаты, каждое кресло, каждый стул и невольно подумал, как удивились бы его оффаль-кордские приятели, если бы могли видеть его среди всего этого великолепия. Интересно, поверят ли они ему, когда он расскажет им свое диковинное приключение, или просто решат, что он рехнулся?

Так прошло с полчаса. Тому начало казаться, что принц давно должен был бы вернуться. Он почувствовал себя одиноким; диковинные новинки перестали его занимать; ему стало грустно, наконец сделалось страшно. Не дай Бог, еще кто-нибудь придет да увидит в платье принца... Что тогда делать? А принца, как на грех, все нет как нет! Чего доброго, его, Тома, повесят, – что ж тут мудреного? Великие мира, говорят ведь, скоры на расправу. Страх мальчика усиливался с каждой минутой. Дрожа, подкрался он к двери в прихожую и с бьющимся сердцем стал прислушиваться, решив бежать отыскивать принца и просить выпустить его на свободу. Но не успел он отворить дверь, как шестеро великолепных лакеев и два молоденьких, нарядных, как бабочки, пажа вскочили со своих мест, как на пружинах, и отвесили ему низкий поклон. Том отшатнулся и проворно захлопнул дверь.

– Вот теперь и эти надо мной издеваются! Боже мой, что мне делать? Я погиб, погиб безвозвратно. И зачем только я сюда сунулся на свою погибель?

Обезумев от страха, он начал метаться по комнате, беспрестанно останавливаясь и с затаенным дыханием прислушиваясь к малейшему шороху. Вдруг дверь из прихожей распахнулась, и нарядный паж доложил:

– Леди Дженни Грей.

Дверь сейчас же опять затворилась, пропустив хорошенькую, нарядную молодую девушку, которая с улыбкой пошла было навстречу Тому, но на полдороге остановилась, как вкопанная, и с тревогой спросила:

– Что с вами, милорд, здоровы ли вы?

Том едва держался на ногах от страха, но, собрав все свои силы, сказал прерывающимся голосом:

– О, сжальтесь надо мной! Спасите меня! Я не лорд, я – Том Канти из Оффаль-Корда. Дайте мне только повидаться с принцем, умоляю вас! Он так добр, я знаю, он не сделает мне никакого вреда и велит меня выпустить на свободу. Сжальтесь надо мной! Спасите меня.

С этими словами мальчик упал на колени, с мольбою простирая руки, поднял на молодую девушку полные слез глаза. Девушка казалась страшно испуганной.

– Бога ради, милорд! Что с вами? Вы на коленях передо мной?

И она повернулась и выбежала из комнаты, а Том в отчаянии упал ничком прямо на пол, бормоча:

«Все пропало! Я погиб! Ниоткуда нет помощи! Сейчас они придут и возьмут меня!»

Пока Том, обезумевший от страха, лежал почти без чувств на полу, ужасная весть облетела дворец!

Тревожным шепотом – так как никто еще не смел говорить об этом громко – зловещий слух переходил из уст в уста, передавался от лорда к лорду, пробежал коридоры, перелетал с этажа на этаж: «Принц помешался, принц помешался!»

Скоро во всех дворцовых покоях, во всех мраморных залах собрались группы великолепных лордов, придворных дам и знатных вельмож; все они взволнованно перешептывались с печальными лицами. Но вот вошел блестящий царедворец и торжественно возвестил:

– Именем короля! Под страхом смерти никто не должен доверять распространившемуся во дворце бессмысленному, ложному слуху. Никто не вправе обсуждать его, а тем паче распространять вне пределов дворца. Такова воля короля!

Шепот мигом смолк, точно все онемели. Но вот опять поднялся говор, и толпа зажужжала: «Принц идет! Вот он – принц!»

Бедный Том, едва передвигая ноги, действительно проходил перед склонявшейся при его приближении толпой придворных, отвечая на поклоны и робко озираясь на невиданную им обстановку жалкими, испуганными глазами. По бокам, поддерживая его под руки, шло двое

знатных вельмож, а за ними выступали придворные доктора и несколько лакеев.

И вот Том очутился в огромном, роскошном покое; дверь за ним затворилась; свита выстроилась у него за спиной. Том поднял голову, взглянул и увидел на некотором расстоянии перед собой тучного человека в полулежачей позе, с широким, расплывшимся, суровым лицом. На нем было богатое, но поношенное и местами даже потертое платье. Одна его нога, вся забинтованная и распухшая, как колода, покоилась на подушке. Воцарилось молчание; все головы, как одна, склонились перед этим человеком. Этот суровый на вид, неподвижный калека был грозный Генрих VIII. Он заговорил, и лицо его смягчилось улыбкой:

– Ну что, мой милый принц, милорд Эдуард, говорят, ты вздумал подшутить надо мной, своим стариком отцом, добрым королем, который тебя так нежно любит?

Бедняжка Том напрягал все свои силы, чтобы выслушать и понять то, что ему говорили; но когда его слуха коснулось слово «король», лицо его помертвело и он, как подстреленный, упал на колени.

– Король! Сам король! Боже мой, я погиб! – воскликнул Том, с мольбой простирая свои дрожащие руки.

Король был, видимо, страшно потрясен этими словами. Он обвел растерянным взглядом присутствующих и со страхом уставился на коленопреклоненного мальчика.

– Увы, напрасно я думал, что это только нелепые слухи, – сказал он наконец с грустью. – Неужели это правда? – Он тяжело вздохнул и, обращаясь к Тому, сказал мягко: – Подойди ко мне, мой мальчик. Что с тобой, дитя мое? Тебе нездоровится?

Тому помогли подняться, и он, весь дрожа, робко подошел к Его Величеству королю Англии. Король ласково обхватил обеими руками его бледное, испуганное личико и долго, не отрываясь, вглядывался в него грустным взором, точно отыскивая в его глазах признаки возвратившегося рассудка; потом с любовью прижал к груди кудрявую головку и нежно погладил ее.

– Неужели ты не узнаешь отца, мой мальчик? Не мучь меня, старика, – скажи, что ты меня знаешь. Ведь ты меня знаешь, не так ли?

– Знаю; вы – мой августейший повелитель, король Англии, да хранит вас Господь!

– Так-так... славно сказано!.. Но успокойся... отчего ты дрожишь? Тебя никто не обидит; здесь все тебя нежно любят. Теперь тебе лучше, не правда ли? Дурной сон миновал; теперь ты знаешь, кто ты, и не станешь

выдавать себя за другого, как ты давеча это сделал, – не так ли?

– Ваше Величество! Поверьте мне, умоляю вас! Я говорил и говорю сущую правду. Я – ничтожнейший из ваших подданных, бедняк-нищий, и попал сюда совершенно случайно. Но я не виноват. Я не сделал ничего худого. Я слишком молод и не хочу умирать. Одного вашего слова довольно, чтобы меня спасти. Ваше Величество, умоляю вас, – скажите это слово!

– Как! Ты говоришь о смерти, милый принц? Полно, полно, тебе просто нужен покой – вот и все. Ты не умрешь.

Том с радостным криком упал на колени.

– Да благословит тебя Бог, всемилостивейший король, и да ниспошлет он тебе долгую жизнь на благо твоего народа!

После этого он вскочил на ноги и, обернувшись с просиявшим лицом к поддерживавшим его вельможам, воскликнул:

– Слышите? Я не умру! Сам король сказал, что я не умру!

В ответ на это все присутствующие отвесили почтительный поклон, но никто не вымолвил ни слова. Том смутился, оживление его мигом пропало, и, робко повернувшись к королю, он спросил:

– Теперь мне можно уйти?

– Уйти? Разумеется, если хочешь. Но почему бы тебе не побыть немного со мной? Куда ты торопишься?

Том потупился и отвечал с грустью:

– Я, верно, ошибся, не так вас понял. Я было думал, что я свободен и могу вернуться домой, в лачугу, где родился и вырос нищим и где меня ждут мать и сестры. Я так привык к своей нищете, что вся эта роскошь... Ах, умоляю вас, Ваше Величество, отпустите меня!

Король молчал, видимо, что-то соображая; лицо его было сурово и грустно.

– Может быть, у него только один этот пункт помешательства, – прошептал он наконец в раздумье, – может быть, во всем остальном разум его остался здоровым. Дай-то Господи! Надо его испытать.

И король обратился к Тому с каким-то вопросом по-латыни, на который Том ответил с грехом пополам на том же языке. Король был в восторге. Лорды и придворные доктора поспешили выразить королю свою радость.

– Конечно, ответ не совсем соответствует его познаниям и способностям, но, на мой взгляд, все-таки доказывает, что рассудок его поражен не вполне, хотя, конечно, немного расстроен. Это дает мне надежду... Что вы на это скажете, сэр?



Доктор, к которому были обращены эти слова, отвесил почтительный поклон и сказал:

– Ваше Величество высказали именно то, что я думаю. Надежда далеко не потеряна.

Королю, видимо, пришелся по сердцу ответ столь авторитетного в этом деле лица, и он добродушно сказал, обращаясь к присутствующим:

– Ну, теперь слушайте все: мы произведем еще одно маленькое испытание.

И он заговорил с Томом по-французски. Несколько минут мальчик простоял молча, смущенный обращенными на него взглядами, но наконец робко промолвил:

– Не сердитесь, Ваше Величество, но... я не понимаю этого языка.

Король тяжело упал на подушки. Присутствующие бросились было к нему, но он отстранил их рукой и сказал:

– Оставьте... это пустое, небольшая слабость, и только. Подымите меня. Вот так, довольно. Пойди ко мне, дитя мое, положи свою бедную, больную головку к отцу на грудь и успокойся, – это скоро пройдет. Не бойся, это пустяки... сейчас пройдет.

Затем он обернулся к придворным, и выражение его лица, за секунду перед этим нежное и мягкое, опять стало суровым, а глаза грозно сверкнули, когда он сказал:

– Слушайте, все вы! Мой сын – безумный, но это пройдет. Всему причиной усиленные занятия и сидячая жизнь. Сейчас же бросить все уроки и книги! Исполнить мое повеление с точностью! Занимайте его играми на чистом воздухе, полезными для здоровья, и он скоро совершенно поправится. – Король приподнялся на своих подушках и добавил с энергией: – Сомнения нет, он безумный, но он мой сын и наследник английского престола, и в здравом ли рассудке, или безумный, – он будет царствовать! Слушайте же и передайте всем: всякий, кто хоть словом обмолвится о его недуге, будет обвинен в измене и как государственный преступник повешен... Дайте мне пить – я весь горю: это горе доконало меня... Подержите кубок... Подымите меня... Вот так. Он безумный, но, будь он хоть в тысячу раз безумнее, он останется принцем Валлийским – такова моя воля, воля короля. И нынче же вечером, по древнему обычаю, он будет утвержден в этом сане. Милорд Гертфорд, распорядитесь церемонией.

Один из царедворцев преклонил колено перед ложем короля и сказал:

– Вашему Величеству известно, что наследный гофмаршал Англии заключен в Тауэре. Не подобает заключенному...

– Молчать! Не оскорбляй моего слуха этим ненавистным именем. Неужели этот человек будет жить вечно? Кто смеет идти наперекор моей воле? Неужели же придется отменить церемонию коронации принца только потому, что у меня не найдется гофмаршала, не запятнанного изменой? Клянусь Всемогущим, это нестерпимо! Ступай и передай моему парламенту, что завтра до восхода солнца я жду приговора Норфольку, – иначе горе им всем! Они поплатятся мне за свое слушание.

– Воля короля – закон! – сказал лорд Гертфорд, поднимаясь с колен и отходя на прежнее место.

Мало-помалу краска гнева сбежала с лица короля, и он опять с нежностью обратился к сыну:

– Поцелуй меня, дитя мое. Вот так... Но отчего ты дрожишь? Чего ты боишься? Разве я не твой любящий отец?

– Вы слишком добры ко мне, недостойному, всемилостивейший и могущественный монарх. Мне ли этого не понимать и не чувствовать! Но... но мне больно, что из-за меня, быть может, ускорится смерть человека и...

– Ах, как это на тебя похоже, как похоже! Правда, рассудок твой пострадал, зато сердце осталось таким же сострадательным и благородным. Но я не потерплю, чтобы этот герцог стоял у тебя на дороге. Я хочу посадить на его место другого, который не запятнает своего высокого сана изменой. Забудь же о нем, дитя мое, и не беспокой больше попусту своей бедной головки.

– Но ведь я не буду причиной его смерти, Ваше Величество? Долго ли еще ему оставалось бы жить, если б не этот случай?

– Не думай о нем больше, дитя мое; он этого не стоит. Поцелуй меня еще раз и ступай порезвись и позабавься: мне что-то нехорошо. Я устал и хочу отдохнуть. Ступай со своим дядей Гертфордом и приходи опять, когда я отдохну.

Том с тяжелым сердцем вышел из комнаты. Последние слова короля нанесли смертельный удар его надежде – надежде когда-нибудь вырваться на свободу. Едва он вышел, как опять услышал сдержанный шепот: «Принц идет! Вот он – принц!»

Все тяжелее и тяжелее становилось у мальчика на душе, пока он проходил вдоль блестящих рядов склонявшихся перед ним царедворцев. Теперь он окончательно убедился, что ему, бедному, беспомощному ребенку, не вырваться из этой раззолоченной клетки, если сам Бог не сжадется над ним и не даст ему свободы.

И куда бы он ни повернулся, повсюду ему чудились отрубленная

голова и врезавшееся в его память лицо герцога Норфолька, который, казалось ему, с упреком глядит на него.

Как прекрасны были его прежние грезы, и как ужасна действительность!

## Глава VI

### Том получает инструкции

В сопровождении блестящей свиты Тома привели в парадный зал и усадили в кресло; но ему было очень неловко сидеть в присутствии всех этих знатных вельмож, и притом людей, которые были гораздо старше его по годам. Он было попросил их присесть, но они только почтительно поклонились и, пробормотав какое-то извинение, продолжали стоять. Когда же Том вздумал было настаивать, его «дядя», граф Гертфорд, шепнул ему на ухо:

– Прошу Вас, не настаивайте, милорд; они не имеют права сидеть в вашем присутствии.

В эту минуту доложили о прибытии лорда Сент-Джона. Милорд, войдя, поклонился Тому и сказал:

– Я прислан Его Величеством по секретному делу. Не угодно ли будет Вашему Высочеству отпустить всех присутствующих, за исключением графа Гертфорда.

Видя, что Том смутился и не знает, как ему быть, Гертфорд опять пояснил ему шепотом, что достаточно одного жеста и что он может не говорить, если не желает. Когда последний из свиты оставил зал, лорд Сент-Джон сказал:

– Его Величество на основании важных государственных причин и соображений изволил повелеть, чтобы Его Высочество принц старался всеми силами скрывать свой недуг, пока болезнь не минует и Его Высочество не будет здоров по-прежнему. Ввиду сего Его Величество повелевает принцу ни перед кем не отрицать, что он настоящий принц, наследник английского престола. Его Величество повелевает принцу блюсти свое княжеское достоинство и без всякого возражения принимать издревле установленные для его сана знаки почтения и покорности. Его Величество повелевает Его Высочеству принцу остерегаться говорить о своем воображаемом низком происхождении и о прошлой жизни, картины коей породила болезнь в его возбужденном мозгу. Его Величество повелевает принцу приложить все свои силы на то, чтобы заставить себя опомниться, для чего умоляет Его Высочество попытаться вспомнить свое прошлое и близких ему лиц; если же это ему не удастся, отнюдь не выказывать при посторонних ни смущения, ни рассеянности, ни

забывчивости; в случаях официальных приемов или в государственных делах, при всяком встречающемся Его Высочеству затруднении, не подавая о том никому вида, обращаться за советом к лорду Гертфорду или к Вашего Высочества покорному слуге, на этот случай приставленным к вам Его Величеством, – впредь до высочайшего распоряжения. Такова воля монарха, который вместе с тем шлет Вашему Высочеству свой привет и молит милосердного Господа о скорейшем вашем исцелении и о ниспослании на вас ныне и присно Его благодати.

Проговорив эту речь, лорд Сент-Джон отвесил новый поклон и отошел в сторону.

– Король так повелел, и я не дерзну ослушаться его повелений. Воля короля будет исполнена, – с твердостью отвечал Том.

– Что касается повеления Его Величества короля относительно книг и занятий, – поспешил заметить лорд Гертфорд, – то не будет ли Его Высочеству благоугодно теперь же заняться, согласно сему повелению, какой-нибудь игрой, чтобы не утомиться к началу банкета и не повредить своему здоровью?

Том с недоумением уставился на говорившего, но, поймав соболезнующий взгляд лорда Сент-Джона, заметно смутился.

– Память опять изменяет вам, Ваше Высочество, – поспешил успокоить его милорд. – Но не тревожьтесь: это пустое, и все пройдет, как только Ваше Высочество немного оправитесь. Милорд Гертфорд говорит о банкете в Сити, на котором вы должны присутствовать, согласно обещанию, данному два месяца тому назад Его Величеством королем. Теперь Ваше Высочество, конечно, припоминает?

– Ах да, в самом деле! Я совсем об этом забыл, – сказал Том нерешительно и покраснел.

В эту минуту доложили о леди Елизавете и леди Дженни Грей. Лорды обменялись многозначительным взглядом; Гертфорд бросился к двери навстречу принцессам и, когда они проходили мимо, поспешно им шепнул:

– Прошу вас, леди, не показывайте вида, если вы заметите в Его Высочестве какие-нибудь странности. Не удивляйтесь его забывчивости; к сожалению, это теперь с ним часто случается по поводу всякой безделицы.

Между тем лорд Сент-Джон шепнул Тому:

– Прошу вас, принц, не забывать о воле Его Величества. Старайтесь припомнить, что можете, и делайте вид, что помните даже то, чего не можете вспомнить. Не давайте заметить принцессам вашего душевного расстройства; вы знаете, как нежно обе они любят вас, – не огорчайте же их

понапрасну. Как прикажете, сэр: удалиться нам с вашим дядюшкой или остаться?

Том жестом попросил их остаться. Он уже немного освоился со своим положением; притом по простоте сердечной он твердо решил свято исполнять волю короля.

Однако, несмотря на все принятые предосторожности, беседа принцесс с наследником то и дело принимала довольно опасный оборот; Том не раз готов был выдать себя и отказаться от взятой им на себя трудной роли, но каждый раз его спасал удивительный такт принцессы Елизаветы или вовремя выручало будто невзначай брошенное слово бдительных лордов, умевших с редким искусством дать разговору счастливый исход. Маленькая леди Дженни совсем было огорошила Тома:

– Навещали вы сегодня Ее Величество королеву, милорд? – спросила она.

Том оторопел, смутился и решился уже отвечать наугад, когда лорд Сент-Джон, с находчивостью ловкого царедворца, привыкшего так или иначе изворачиваться в затруднительных случаях, поспешно ответил за него:

– Как же, миледи; и Ее Величество вполне успокоили принца насчет здоровья Его Величества короля, – не правда ли, милорд?

Том в замешательстве пробормотал что-то непонятное, чувствуя, что почва ускользает у него из-под ног.

В другой раз, когда разговор коснулся повеления короля приостановить на время занятия Тома, принцесса Дженни воскликнула:

– Какая жалость! Вы делали такие больше успехи, милорд! Только не принимайте этого близко к сердцу; ваши занятия прекращены, конечно, ненадолго. Во всяком случае, вы еще успеете сделаться таким же ученым и таким же знатоком языков, как ваш отец.

– Как бы не так! – выпалил вдруг Том, совершенно забывшись. – Отец и родной-то язык знает не лучше свиньи, а уж о других науках...

В эту минуту мальчик поймал испуганный взгляд лорда Сент-Джона, осекся на полуслове и dokonчил:

– Мне опять что-то худо: мысли мешаются. Прошу прощения, я, право, не хотел сказать ничего оскорбительного для Его Величества короля.

– Еще бы, еще бы, милорд! – сказала леди Елизавета, почтительно и в то же время нежно пожимая в обеих руках руку «брата». – Не тревожьтесь, вы не виноваты, – всему причиной ваша болезнь.

– Какая вы добрая, миледи, – настоящий ангел! Я вам признателен всей душой, – отвечал Том с благодарностью.

Тут расшалившаяся леди Дженни бросила ему какую-то греческую фразу. Но и на этот раз от зоркого взгляда леди Елизаветы не укрылось смущение Тома; она преспокойно ответила маленькой шалунье целым градом звучных греческих фраз и ловко перевела разговор на другое.

Беседа шла приятно и довольно гладко. Подводные камни и мели попадались все реже. Том начинал все больше и больше свыкаться со своей новой ролью, видя, с какой любовью и предупредительностью ему помогают выпутываться из затруднений. Когда же в разговоре выяснилось, что молодые девушки должны сопровождать его на банкет к лорду-мэру, у мальчика чуть не выпрыгнуло сердце от радости и он свободно вздохнул от сознания, что не будет одиноким в толпе чужих людей. А между тем какой-нибудь час тому назад одна мысль о принцессах приводила его в содрогание и наполняла его душу невыразимым ужасом.

Два лорда, ангелы-хранители Тома, далеко не испытывали от этого свидания такого удовольствия, как остальные собеседники. Оба они чувствовали себя в положении шкипера, которому надо провести большой корабль через узкий, опасный пролив; все время им приходилось быть настороже, и они меньше всего могли смотреть на свои обязанности, как на детскую забаву. Поэтому, когда визит принцесс близился к концу и принцу доложили о лорде Гальфорде Дудлее, благородные лорды почувствовали, что они не в силах больше пускаться в новое неверное плавание, и решили, что ловкость и находчивость их достаточно испытаны на сегодня. Итак, они почтительно посоветовали Тому извиниться и отказать милорду, на что Том охотно согласился, не заметив легкого облачка неудовольствия, омрачившего личико леди Дженни, когда она услышала, что блестящий молодой царедворец так-таки и не будет принят.

Затем наступила минута неловкого, выжидательного молчания; но Том не сообразил, в чем дело, и с недоумением оглянулся на лорда Гертфорда, который поспешил сделать ему какой-то знак. Том опять-таки ровно ничего не понял. На этот раз его опять выручила, со своей обычной находчивостью, леди Елизавета. Она грациозно присела и сказала:

– Теперь не позволит ли нам Его Высочество удалиться?

– Я готов позволить миледи все, что ей будет угодно, хотя, признаюсь, я охотнее согласился бы на всякую другую ее просьбу, исполнение которой не лишало бы меня ее очаровательного общества. Будьте здоровы, миледи! Да хранит вас Господь! – сказал Том и невольно подумал: «Недаром, видно, я так любил в моих книгах общество принцесс; вот когда оно мне пригодилось – знакомство с их высокопарным, вычурным обращением».

Когда принцессы удалились, Том с усталым видом обернулся к своим

наставникам.

– А теперь, милорды, не разрешите ли вы мне удалиться? Я очень устал... мне хотелось бы отдохнуть.

– Приказывайте, Ваше Высочество; наша обязанность повиноваться, – сказал лорд Гертфорд – Да вам и не мешает отдохнуть, особенно ввиду сегодняшнего банкета в Сити.

С этими словами лорд Гертфорд дотронулся до звонка, и на пороге показался молоденький паж, которому было приказано позвать сэра Вильяма Герберта. Этот джентльмен не замедлил явиться и проводил Тома в жилые апартаменты. Первым движением Тома было взять со стола кубок с водой, но слуга, весь в бархате и шелке, предупредил его желание и, опустившись на одно колено, подал ему кубок на золотом блюде.

Утомленный усталостью, пленник в изнеможении опустился в кресло и, робко поглядывая на свою свиту, как бы испрашивая ее разрешения, хотел было снять с себя башмаки, но новый мучитель в шелке и бархате опять предупредил его желание и, опустившись на одно колено, исполнил за Тома и эту обязанность. Том сделал было еще две-три попытки действовать самостоятельно, но, убедившись, что все его усилия в этом направлении останутся тщетны, с тяжелым вздохом покорился своей участи. «Господи Боже мой! – пробормотал он, – как они не возьмутся еще дышать за меня!»

В туфлях и в роскошном халате Том прилег отдохнуть. Но уснуть он не мог: в голове его теснились мысли; в комнате вокруг него толпились люди. Разогнать докучные мысли он не мог, – они не оставляли его; разогнать докучных людей – не умел, и они тоже не оставляли его, к общей, его и своей, досаде.

После того как Том вышел, благородные лорды, его пестуны, остались вдвоем. Долго шли они рядом, покачивая головами в глубокой задумчивости. Лорд Сент-Джон первый прервал молчание.

– Ну-с, милорд, что вы обо всем этом думаете? – спросил он.

– Да что же тут думать? Дело ясно как день. Король долго не протянет, племянник мой помешан; безумным взойдет он на престол, безумным будет и царствовать. Да хранит Англию милосердный Господь, – она нуждается в Его милосердии.

– Так-то оно так. Но... не кажется ли вам, что...

Лорд Сент-Джон смутился и замолчал. Очевидно, дело шло о щекотливом предмете. Лорд Гертфорд остановился перед собеседником и пристально посмотрел ему в лицо своим светлым, правдивым взглядом.

– Говорите, милорд, высказывайте вашу мысль. Мы здесь одни, нас



никто не услышит.

– Поверьте, милорд, мне очень тяжело высказываться, да еще перед таким близким родственником Его Высочества. Заранее прошу прощения за свои слова, но – не кажется ли вам странным, что недуг мог разом так круто изменить его манеры и обращение? Я не хочу этим сказать, что его манеры и обращение сделались менее царственны, и однако в каждой малейшей безделице, в каждом движении они не те, совсем не те. Не странно ли, что его безумие сразу отбило у него память на самых близких – даже забыть лицо отца, – и сразу вынудило его забыть привычные от колыбели обычаи, сохранив почему-то знание латыни, в то же время совершенно изгладило знание греческого и французского языков? Простите мою смелость, милорд, но, право, я был бы бесконечно вам благодарен, если бы вы убедили меня в неосновательности моих сомнений. Ну а что, если все эти его уверения и клятвы, что он не принц...

– Молчите, милорд! Ваши речи – измена! Разве вы забыли повеление короля? Слушая вас, я невольно становлюсь соучастником государственного преступления.

Лорд Сент-Джон побледнел и поспешно сказал:

– Мои сомнения – непростительная, безумная ошибка: я сознаюсь и клянусь вам, что никому больше не стану об этом заикаться. Ради Бога, простите, милорд, не погубите меня!

– Довольно, милорд. Если вы даете слово ни с кем больше об этом не говорить, все останется между нами. Но этого мало: вы должны прогнать ваши сомнения; их не должно, их не может быть! Он – сын моей сестры; его голос, лицо, осанка, манеры, каждое его движение знакомы мне с детства. Безумие может вызвать в мозгу очень странные перемены, гораздо более странные, чем те, на которые вы указали. Вспомните, например, старого барона Морлея, который, помешавшись, совершенно забыл, кто он, и то принимал себя за сына Марии Магдалины, то уверял, что у него голова из испанского стекла; и никому не позволял до себя дотронуться, боясь, чтобы ему как-нибудь ее не разбили. Могут ли быть в этом случае какие-нибудь сомнения, милорд? Конечно, он принц – мне ли его не знать? – и притом принц, который скоро будет королем; этого обстоятельства не следует забывать!

После описанной короткой беседы, во время которой лорд Сент-Джон изо всех сил старался загладить свою непростительную оплошность, лорд Гертфорд отпустил своего товарища по должности и остался дежурить один. Скоро он о чем-то глубоко задумался, и чем больше он думал, тем сильнее и сильнее волновался. Наконец он тревожно зашагал по комнате,

бормоча себе под нос:

«Нет, не может этого быть! Он должен быть принцем. В целой Англии не найдется сумасброда, который решился бы утверждать, что возможно такое поразительное сходство между людьми, чуждыми по рождению... А если бы так, – каким чудом очутился бы он здесь, на месте принца? Нет, это бред, безумный бред!»

Немного погодя он продолжал:

«Ну хорошо, допустим; допустим, что он самозванец и выдает себя за принца; в этом нет еще ничего невероятного, ничего бессмысленного. Но виданная ли вещь, чтобы самозванец, признанный всеми, – и двором, и самим королем, – отрекался от своего сана и отказывался от достигнутой им высоты? Нет, клянусь Богом, это невозможно! Нет, разумеется, он принц, – настоящий принц; но, к несчастью, он помешался...»

## Глава VII

### Обед Тома в роли принца

Около часу пополудни Том смиренно покорился церемонии одевания к обеду. Его раздели в такой же нарядный костюм, как и тот, что был на нем раньше, но с головы до ног – начиная с брыжей и кончая чулками – все на нем переменили. Затем его отвели в сопровождении целой свиты в красивый просторный зал, где был накрыт стол на одну персону. Посуда была вся из литого золота с драгоценными украшениями работы знаменитого Бенвенуто Челлини. В зале Тома ждала целая толпа благородных слуг. Капеллан прочел предобеденную молитву. Наголодавшийся на своем веку мальчик хотел уже было накинуться на еду, но его остановил милорд граф Берклей, торжественно подвязавший ему под подбородок салфетку. Важная должность подвязывания салфетки принцу Валлийскому принадлежала лорду Берклею и была наследственной в роду этого вельможи. За спиной Тома поместился другой именитый сановник, в обязанности которого входило наполнять вином стакан Его Высочества, а рядом с ним стоял благородный лорд, готовый по первому требованию отведать подозрительного кушанья с риском отравиться. Правда, в то время эта последняя должность существовала больше для вида, и случаи, когда приходилось прибегать к услугам лиц, ею облеченных, были очень редки; но было время (и не такое уж далекое), когда она была сопряжена с большой опасностью для жизни и никого не соблазняла. Странно, что почетную эту обязанность поручали не химикам; а еще проще было бы предоставить ее собакам. Но в придворных обычаях много странного. Первый камердинер Его Высочества, милорд д'Арси, тоже зачем-то был тут; зачем – неизвестно, но он был тут – и этого довольно. Был тут и лорд-мундшенк, стоявший за стулом Тома и наблюдавший за церемонией обеда, которая совершалась под руководством двух его помощников: лорда-сенешаля и лорда-оберкоха. У Тома было еще триста сорок четыре человека прислуги кроме тех, кого мы назвали здесь, но, конечно, налицо их было не более четверти, и Том по простоте душевной и не подозревал о существовании остальных.

Все присутствующие были предупреждены о нездоровье принца и получили строгий наказ не выдавать своего удивления в том случае, если бы они заметили в нем какие-нибудь странности. Вскоре все могли воочию

убедиться, до каких грандиозных размеров доходили эти «странности», однако это не только не вызвало смеха или глумления со стороны верноподданных обожаемого принца, но, напротив, повергло их в великую печаль.

Бедный Том без дальних церемоний начал есть руками, но никто даже не улыбнулся на эту «странность»; все сделали вид, что ничего не замечают. Мальчик стал с любопытством разглядывать свою красивую узорчатую салфетку и наконец простодушно сказал:

– Снимите ее, пожалуйста, а то как бы мне не запачкать...

Лорд Берклея немедленно повиновался, и исполняя свою наследственную обязанность, почтительно снял с него салфетку.

Том с удивлением уставился на брюкву и латук и осведомился, что это такое и можно ли это есть. (В то время в Англии только что начали разводить эти овощи; раньше же они привозились из Голландии в виде большой редкости.) Ему ответили на вопрос, не выказывая ни удивления, ни насмешки. Покончив с десертом, он набил себе полные карманы орехами, но и на это никто не обратил никакого внимания, точно так оно и следовало. Зато сам Том почувствовал, что сделал неловкость, и смутился. За все время обеда это был единственный случай, когда ему позволили действовать самостоятельно, и он понял, что поступил неприлично и недостойно звания принца. У него задрожали губы и в носу защекотало. Это ощущение все усиливалось. Мальчик окончательно растерялся. С безмолвной мольбой поглядывал он на окружающих его лордов; глаза его наполнились слезами. Перепуганная свита бросилась к нему; все спрашивали, что с ним.

– Простите, пожалуйста, но у меня страшно чешется нос, – сказал мальчик наивно. – Как мне быть? Что принято делать в таких случаях? Пожалуйста, говорите скорей, – я не могу больше терпеть...

Никто не улыбнулся; все были в недоумении и со смущением переглядывались. Да и мудрено было не смутиться: во всей Англии не было указаний на то, как следовало поступить в таком затруднительном случае. А тут еще, как на грех, не случилось под рукой главного церемониймейстера. Кто же мог взять на себя смелость пуститься в эту неведомую область и разрешить трудную задачу? Увы, при дворе не полагалось наследственной должности чесальщика царственных носов. Между тем из глаз Тома хлынули слезы. Его нос чесался все сильнее и настоятельно требовал помощи. Наконец природа осилила все преграды этикета. Помолвившись мысленно, чтобы Господь простил ему, если он совершает невольное прегрешение, Том облегчил огорченные сердца

присутствующих, собственноручно почесав себе нос.

Когда обед кончился, один из лордов поднес Тому широкую, плоскую золотую чашу с розовой водой для полоскания рта и омовения рук. Милорд Берклей стал рядом с мальчиком, держа наготове салфетку. С минуту Том в недоумении смотрел на золотую чашу, потом решительно поднес ее к губам, отпил глоток, но сейчас же возвратил ее лорду.

– Нет, это мне совсем не нравится, милорд, – сказал мальчик. – Пахнет чудесно, но никакой крепости нет.

Эта новая «странность» бедного безумного принца наполнила грустью сердца всех присутствующих, да и могло ли быть иначе?

Наконец, Том проявил еще одну «странность». Он встал из-за стола как раз в ту минуту, когда капеллан, поместившись за его стулом, воздел было руки и очи горе<sup>[1]</sup>, собираясь прочесть благодарственную молитву. Но и тут все сделали вид, что не замечают неприличной выходки принца.

Затем по просьбе нашего маленького друга его отвели в его собственный кабинет и предоставили самому себе.

На крючках, вдоль стен с дубовой обшивкой, были развешаны разные принадлежности вооружения из сверкающей стали с изящными чеканными золотыми узорами. Блестящее вооружение принадлежало принцу и было недавно подарено ему королевой Екатериной Парр. Том надел латы, наручники и шлем с плюмажем – словом, все доспехи, какие только мог надеть без постороннего содействия, и уже собирался было позвать кого-нибудь на помощь, чтобы облачиться до конца, но вспомнил об орехах, которые он принес от обеда. Возможность съесть эти орехи без соглядатайства целой толпы зрителей и докучных наследственных лордов с их несносными услугами показалась ему до того соблазнительной, что он сейчас же разоблачился, развесил по местам свои доспехи и с наслаждением принялся щелкать орехи, чувствуя себя почти счастливым – впервые с тех пор, как Господу угодно было в наказание за грехи превратить его в принца. Когда орехи кончились, Том обратил свое внимание на шкаф с прекрасными книгами, из которых особенно соблазнительной показалась ему одна – об этикетах при английском дворе. Это был для него сущий клад. Он прилег на роскошный диван и углубился в поучительное чтение...

Но оставим его ненадолго.

## Глава VIII

### Государственная печать

В пятом часу Генрих VIII проснулся после тревожного сна. «Страшные видения, – пробормотал он про себя. – Конец мой близок – я это чувствую. Недаром я вижу такие сны, да и слабеющий пульс подтверждает мое предчувствие». Вдруг взгляд его вспыхнул злобой. «Но он погибнет прежде, чем я умру!» – прошептал он.

Придворные заметили, что король проснулся, и один из них спросил Его Величество, не угодно ли ему будет отдать приказания лорду-канцлеру, который их ждет.

– Зовите его, впустите его скорей! – с живостью воскликнул король.

Лорд-канцлер вошел и преклонил колено перед ложем своего повелителя.

– Согласно воле короля я передал его приказание пэрам парламента. Приговор над герцогом Норфольком произнесен, и парламент ждет дальнейших распоряжений Вашего Величества.

Лицо короля просияло.

– Подымите меня. Я сам пойду к моему парламенту и собственноручно скреплю печатью приговор, избавляющий меня от...

Тут голос его прервался; смертельная бледность покрыла лицо. Придворные бросились поправлять подушки и приводить больного в чувство.

– Как долго я ждал этой блаженной минуты, – вымолвил с грустью король. – Она настала, но, увы, слишком поздно. Мне не придется насладиться счастьем, которого я так нетерпеливо ждал. Что ж, пусть другие исполнят за меня отрадную обязанность, если уж для меня это невозможно. Поспешите же, лорды! Я вручаю государственную печать комиссии, которую вы выберете из своей среды. Поспешите же, лорды! И прежде чем солнце снова взойдет и зайдет, принесите мне его голову: я хочу ее видеть собственными глазами.

– Воля короля священна. Не угодно ли будет Вашему Величеству вручить мне печать, чтобы я мог немедленно приступить к делу?

– Вручить тебе печать? Да у кого же ей быть, как не у тебя?

– Простите, Ваше Величество, но вы сами взяли ее у меня дня два тому назад; вы сказали, что никто не должен к ней прикасаться, пока вами

собственноручно не будет скреплен приговор над герцогом Норфольком.

– Да, да, это правда; теперь припоминаю... Но где же она в таком случае?.. Я так слаб... Память стала мне изменять в последние дни... Странно, очень странно...

И король что-то невнятно забормотал, покачивая седой головой и тщетно стараясь припомнить, куда могла деваться печать. Наконец лорд Гертфорд решился вставить свое слово и, преклонив колено, сказал:

– Простите мою смелость, государь, но позвольте напомнить Вашему Величеству, что вы тогда же, в моем присутствии и в присутствии многих других свидетелей, изволили передать печать на хранение Его Высочеству принцу Валлийскому впредь до того дня, когда...

– Да, да, совершенно верно! – перебил с живостью король. – Принесите же мне ее скорей! Торопитесь: время не терпит.

Лорд Гертфорд полетел к Тому, но скоро вернулся смущенный и с пустыми руками.

– Мне крайне прискорбно огорчить Ваше Величество, – с волнением начал лорд Гертфорд, – но недуг, ниспосланный Богом Его Высочеству, не проходит, и принц не помнит даже, чтоб вы ему отдавали печать. Я осмелился немедля доложить об этом Вашему Величеству, так как время не ждет, и мы только даром теряли бы его, разыскивая печать в многочисленных апартаментах принца...

Мучительный стон короля прервал речь лорда Гертфорда. Спустя несколько минут Его Величество промолвил с глубокой грустью:

– Не беспокойте его больше, бедняжку. Десница Господня тяжело испытывает его, и сердце мое мучительно скорбит за того, чье бремя я охотно принял бы на свои старые, изможденные плечи.

Глаза короля закрылись; он опять что-то тихонько забормотал и наконец умолк. Немного погодя он снова открыл глаза; помутившийся взгляд его скользнул по лицам присутствующих и остановился на коленопреклоненном лорде-канцлере.

– Как, ты все еще здесь! – воскликнул Его Величество, и лицо его вспыхнуло гневом. – Клянусь Богом, ты не торопишься покончить с этим изменником! Смотри, – берегись, как бы тебе не поплатиться за него своей головой!

– Смилуйтесь, пощадите, Ваше Величество! – взмолился трепещущий лорд-канцлер.

– Где же твоя голова, милорд? Разве ты не знаешь, что малая государственная печать, которую я прежде имел обыкновение брать с собой в путешествие, хранится в моей сокровищнице? Большой печати нет, –

обойдемся и малой! О чем тут думать?! Ступай! Да смотри – не являться ко мне на глаза без его головы!

Бедный лорд-канцлер поспешил убраться подобру-поздорову от опасного соседства. Комиссия, разумеется, тоже не замедлила скрепить приговор покорного парламента и на следующий же день назначила казнь первого пэра Англии, несчастного герцога Норфолька.



## Глава IX

### Праздник на реке

В десять часов того же вечера весь огромный дворцовый фасад, выходящий на реку, был залит огнями. Да и сама река по направлению к Сити, насколько хватало глаз, была сплошь усеяна лодками и барками, разукрашенными разноцветными фонарями, которые тихо покачивались на волнах, напоминая большой пестрый цветник, колеблемый легким ветерком. Широкая дворцовая терраса с каменной лестницей, спускавшейся к самой реке, – достаточно обширная, чтобы вместить целую армию небольшого германского княжества, – представляла очень живописную картину со своими двумя рядами королевских алебардчиков в блестящем вооружении и с толпой нарядных слуг, которые торопливо сновали взад и вперед, оканчивая последние приготовления.

Но вот, по данному сигналу, терраса мигом опустела. Даже в воздухе чувствовалось какое-то напряженное ожидание. Насколько можно было окинуть глазом несметную толпу теснившегося в лодках народа, было видно, что все встали как один человек и, прикрывая глаза рукой от яркого света фонарей и факелов, с жадным любопытством смотрели в сторону дворца. Штук сорок-пятьдесят королевских катеров вереницей потянулись к лестнице. Катера были все раззолочены и украшены искусной резьбой по корме и на носу; некоторые – расцвечены вымпелами и флагами; другие – убраны золотой парчой и дорогими тканями с затканными по ним гербами; на третьих развевались шелковые флаги с бесчисленным множеством серебряных колокольчиков, мелодично позванивавших при каждом дуновении ветерка; у четвертых, наконец, – особенно пышных и богатых, потому что они предназначались для самых приближенных к особе принца вельмож, – красовались по бокам великолепные щиты с художественными фамильными гербами. Каждый катер шел на буксире у гребной барки, в которой, кроме гребцов, помещался отряд воинов в блестящих шлемах и латах и хор музыкантов.

Наконец из главного входа показалась голова ожидаемой процессии. Впереди шел отряд алебардчиков в длинных темно-красных с черным чулках в обтяжку, в кокетливых бархатных шапочках, схваченных сбоку серебряной розой, и темно-красных с синим камзолах с вышитым золотом на груди и спине тремя перьями – гербом принца. Рукоятки всех алебард

были обтянуты алым бархатом с вышитыми на нем золотыми гвоздиками и украшены золотыми кистями. Отряд выстроился двумя шпалерами вдоль лестницы, от главных дверей вплоть до самой реки. Слуги в пунцовых с золотом ливреях проворно разостлали в промежутке между двумя рядами солдат прекрасный пушистый ковер. Тогда из дворца раздались звуки труб, музыканты на барках подхватили веселую мелодию, и из главного дворцового входа, выступая торжественным, размеренным шагом, показались: впереди два пристава с белыми булавами; за ними два офицера – один с жезлом города, другой с городским мечом; потом шли разные чины городской гвардии в полной парадной форме с вышитыми на рукавах значками; первый кавалер ордена Подвязки; рыцари ордена Бани, с белыми перевязями на рукавах, и за ними их свита; судьи в пурпурных плащах и беретах; лорд первый канцлер Англии в накинутой на плечи пурпурной мантии, отороченной мехом; депутации альдерменов в алых камзолах и начальники всевозможных гражданских учреждений в полной парадной форме. За ними выступали двенадцать французских сановников в роскошных нарядах: в белых, шитых золотом, парчовых камзолах, в коротких алых бархатных плащах, подбитых фиолетовой тафтой, и в длинных красных чулках. Это были вельможи из свиты французского посланника; за ними следовали двенадцать кавалеров из свиты испанского посланника, – в черном бархате без всяких украшений. Шествие замыкали английские вельможи со своей свитой.

Трубы во дворце заиграли громче; в главных дверях показался дядя наследного принца, будущий великий герцог Сомерсет. На нем был черный с золотом камзол и пурпурный атласный, затканый золотом, плащ, обшитый серебряной сеткой. Он обернулся лицом к двери, снял шляпу с перьями и, почтительно поклонившись всем станом, стал задом спускаться с лестницы, кланяясь на каждой ступеньке. Трубы грянули еще громче; герольд провозгласил: «Дорогу могущественному, великому лорду Эдуарду, принцу Валлийскому!» Высоко на дворцовых стенах с громовым треском вспыхнула длинная линия огненных языков; оглушительное приветствие несметной толпы пронеслось над рекой, – и в дверях, величественно раскланиваясь на все стороны легким кивком головы, появился Том Канти – герой и невольный виновник всей этой пышной церемонии.

Он был в роскошном белом атласном камзоле, отороченном горностаем, с пурпурной, залитой бриллиантами, вставкой на груди. С плеч его спускался белый плащ, затканый гербами принца с тремя золотыми перьями, подбитый голубым атласом, расшитый по краям жемчугом и драгоценными камнями и пристегнутый на плечах бриллиантовыми

аграфами. Грудь украшали спускавшийся с шеи орден Подвязки и другие иностранные ордена. При свете ярких огней все эти драгоценности сияли ослепительным блеском. Ах, что это была за картина! Ты ли это, Том Канти, рожденный в лачуге, выросший в лондонских канавах, с детства привыкший к грязи, нужде и лохмотьям!

## Глава X

### Принц в беде

Мы расстались с Джоном Канти в ту минуту, когда он тащил по улице отбивавшегося принца при громких, восторженных криках оффалькордских зевак. В толпе нашелся только один человек, решившийся замолвить словечко за бедного пленника. Но никто не обратил на него внимания; навряд ли даже кто-нибудь его слышал – так оглушителен был шум. Возмущенный грубым обращением, которому он подвергался, принц продолжал отчаянно бороться, отстаивая свою свободу. Тогда Джон Канти потерял весь свой скудный запас терпения и свирепо замахнулся на него своей здоровенной дубиной. Единственный защитник бедного мальчика бросился вперед и успел схватить за руку расвирепевшего Канти, так что удар пришелся по собственному кулаку негодяя.

– А, так ты соваться не в свое дело? – яростно заревел Канти. – Вот же тебе, получай!

Тяжелая дубина опустилась на голову заступника. Раздался глухой стон, и какая-то темная масса рухнула на землю к ногам толпы. Через минуту она лежала одиноко, распростертая среди густого мрака. Веселая толпа поспешно разбрелась, нимало не смущаясь такой непредвиденной развязкой.

Принц очутился в лачуге Джона Канти, и дверь за ним захлопнулась. При тусклом, мерцающем свете сальной свечи, вставленной в бутылку, он мог рассмотреть жалкую конуру, куда он попал, и ее обитателей. Забившись в угол, две грязные, оборванные девушки и пожилая женщина сидели, прижавшись друг к другу, с видом животных, привыкших к жестокому обращению и ожидающих удара. Из другого угла выглядывала отвратительная старая ведьма с растрепанными седыми космами и злыми глазами. Джон Канти обратился к старухе:

– На-ка, полюбуйся на эту комедию! Позабавься, коли понравится, да выколоти из него хорошенько эту дурь... Пойди сюда, дуралей! Повтори свои дурацкие сказки, если еще помнишь. Как тебя зовут? Кто ты такой?

Краска обиды и гнева залила лицо принца; он с презрением взглянул в лицо своему оскорбителю и твердо отвечал:

– Ты невежа и не смеешь так со мной обращаться. Я тебе уже сказал и опять повторяю: я – Эдуард, принц Валлийский, – и никто другой.

Этот ответ так поразил старую ведьму, что ноги ее точно приросли к полу. Вытаращив глаза, она замерла на месте с таким уморительным видом, что ее сын покатился от хохота. Совершенно иначе подействовали слова мальчика на трех остальных женщин. Позабыв свой недавний страх, они бросились к нему со страшным криком:

– Что с тобой, милый Том? Что с тобой, наш бедный мальчик?

Мать опустилась на колени перед принцем и, положив ему руки на плечи, долго и тревожно вглядывалась сквозь слезы в его лицо.

– Бедный мой мальчик, – сказала она наконец, – бедное мое дитячко! Эти дурацкие книги сделали свое дело – доконали-таки тебя. Так я и знала! Недаром я тебя просила не зачитываться книгами... За что же ты разбил мое бедное сердце?

Принц посмотрел ей в лицо и кротко ответил:

– Успокойся, бедная женщина, твой сын здоров и в здравом уме. Отведи меня к нему во дворец, и король, мой отец, сейчас же вернет тебе твоего Тома.

– Король – твой отец! Бедный мой мальчик! Не повторяй этого, а то мы все пропали! Забудь, что ты сказал! Опомнись, взгляни на меня, мой милый! Разве ты не узнаешь свою мать, которая тебя так нежно любит?

Принц покачал головой и вымолвил с грустью:

– Бог свидетель, как мне жалко тебя огорчать, но, право, я в первый раз тебя вижу.

Мистрис Канти в изнеможении опустилась на пол и, закрыв лицо руками, разразилась отчаянными рыданиями.

– Вот так комедия! – заревел Канти. – Эй, вы, Бет и Нан! Что же вы стоите в присутствии принца, невежи! На колени, нищие! Кланяйтесь ему в ноги!

И он опять закатился лошадиным хохотом. Девушки сделали робкую попытку заступиться за брата.

– Отпусти его спать, отец, – сказала Нани, – пожалуйста, отпусти! Вот увидишь, что после сна у него все пройдет; он выпится и завтра будет здоров.

– Отпусти его, отец, – добавила Бетти. – Посмотри, как он измучен. Он проспится, опомнится, пойдет завтра собирать милостыню и никогда больше не придет с пустыми руками.

Это последнее замечание отрезвило Джона Канти от припадка дикой веселости и дало деловое направление его мыслям. Он злобно обратился к принцу:

– Завтра мы должны платить за квартиру; нужно два пенса, слышишь?

Этакая уйма денег за эту нору, и всего-то за полгода! Надо заплатить, не то нас выгонят. Ну-ка, чем ты порадуешь нас сегодня, лентяй?

– Не смей мне говорить о твоих скаредных делах! – отвечал принц. – Ты оскорбляешь меня. Сказано тебе, что я королевский сын!

Тяжелый кулак Джона Канти, опустившийся на плечо бедного мальчика, заставил его пошатнуться и сбил бы с ног, если бы мистрис Канти не подхватила его в объятия и не прикрыла бы своим телом от града посыпавшихся на него ударов. Девочки в страхе забились в угол; бабушка поспешила на помощь своему сыну. Принц вырвался из рук мистрис Канти.

– Я не допущу, чтобы ты страдала за меня, – сказал он. – Пусть эти скоты потешаются надо мной, если им нравится.

Эти слова привели «скотов» в такую ярость, что они набросились на свою жертву с удвоенным рвением. Натешившись вволю над бедным мальчиком, они не дали спуска и его непрошенным заступницам – матери и сестрам.

– Ну, а теперь живо по местам! – сказал Канти. – Я устал как собака.

Свечу сейчас же погасили, и семья разошлась на покой. Как только громкий храп главы дома и его маменьки возвестил, что они спят, девочки тихонько прокрались к тому месту, где лежал принц, и заботливо прикрыли его кое-каким тряпьем; следом за ними пробралась к нему мать; она нежно гладила его волосы, плакала над ним, нашептывала ему ласковые слова, утешала его. Она приберегла для него кое-какие объедки, но усталость и боль от побоев отняли у мальчика всякий аппетит – по крайней мере, к черствому черному хлебу. Он был тронут состраданием и самоотверженным заступничеством доброй женщины и благодарил ее с чисто царственным достоинством. Потом он стал просить ее успокоиться и идти спать, пообещав, что король, его отец, по-царски наградит ее за ее доброту. Это новое доказательство «безумия» сына так взволновало бедную мистрис Канти, что она долго не могла с ним расстаться; снова и снова прижимала она к себе своего бедного мальчика и наконец, заливаясь горькими слезами, отправилась на свое место.

В то время как бедная женщина лежала на своей постели без сна, в мучительном раздумье, в душу ее стало прокрадываться сомнение, завладевшее понемногу всеми ее помыслами, – сомнение в том, действительно ли этот мальчик был ее сыном? Она не могла дать себе ясного отчета, почему ей казалось, что это не Том, но чуткий материнский инстинкт подсказывал ей, что ее подозрения верны. Неужели это не ее сын? Какой вздор! Она чуть не улыбнулась при этой мысли, несмотря на все свое горе. Но как она ни старалась отогнать от себя этот вздор, запавшее ей в

душу подозрение продолжало упорно преследовать ее и терзать. Наконец она убедилась, что ей все равно не успокоиться, пока она так или иначе не развеет своих сомнений и не удостоверится, что этот мальчик ее сын. Да, конечно, удостовериться необходимо. Но как это сделать? Ей нужно точное, неоспоримое доказательство; только тогда уляжется ее мучительная тревога. А где его взять? Задумать легче, чем исполнить. Мистрис Канти думала и передумывала, перебирая всевозможные способы испытаний, но ни один из них ее не удовлетворял. Видно, она напрасно ломала себе голову, и придется это оставить. Когда она пришла к этому печальному заключению, до слуха ее донеслось ровное дыхание спящего мальчика. Она невольно стала прислушиваться. Вдруг мальчик дико вскрикнул, как это часто бывает в тревожном сне. Это случайное обстоятельство навело ее на счастливую мысль. Она мигом вскочила с постели и с лихорадочной поспешностью, беззвучно принялась за дело. Она потихоньку зажгла свечу, бормоча про себя: «И как это я раньше не догадалась! Как не подумала об этом! С того самого дня, как ему опалило порохом лицо (он был тогда еще крошкой), он каждый раз при испуге или спросонья, если его неожиданно разбудить, делает, как и в тот день, одно и то же движение: закрывает себе глаза рукой, но не так, как все, – ладонью внутрь, а как-то вывернув ее наружу. Я это видела сотни раз, и у него этот жест всегда один и тот же. Да, да, теперь наконец я могу убедиться!»

Осторожно прикрыв свечу рукой, она подкралась к спящему принцу и, затаив дыхание, нагнулась над ним. Вся дрожа от волнения, она резко отняла руку, так что свет упал ему прямо в глаза, и громко постучала пальцами об пол у самого его уха. Мальчик широко открыл глаза, испуганно осмотрелся, – но не сделал характерного движения рукой.

Бедная мистрис Канти страшно растерялась, но подавила свое волнение и постаралась успокоить разбуженного мальчугана. Когда он уснул, она потихоньку пробралась к себе на постель и горестно задумалась над печальным результатом своего опыта. Она старалась убедить себя, что сумасшествие заставило Тома забыть привычный жест, но она сама этому не верила. «Пусть он безумный, – думала она, – но ведь руки-то у него здоровые; не могли же они в такой маленький срок отвыкнуть от такой старой привычки. Боже мой, Боже мой, что за несчастный сегодня день!»

И несмотря на это, надежда в душе бедной женщины держалась теперь так же упорно, как упорно одолевали ее недавно сомнения. Она не решалась принять приговор за окончательный: разве у нее были неоспоримые доказательства? Разве ее опыт не мог быть простой случайностью? Она разбудила мальчика во второй и в третий раз, но

получила те же результаты. Наконец, совершенно измученная, она дотащилась до своей постели. Забываясь тяжелым сном, она прошептала: «А все-таки я его не покину – я не могу, не могу его покинуть, – это должен быть мой сын!»

Как только мистрис Канти прекратила свои опыты и перестала будить бедного принца, он стал забываться; ноющая боль во всем теле понемногу утихла, и он уснул спокойным, освежающим сном. Время бежало; прошло часов пять. Мало-помалу мальчик стал выходить из своего оцепенения и наконец пробормотал сквозь сон:

– Сэр Вильям!

Потом опять, уже громче:

– Сэр Вильям Герберт! Подите сюда; послушайте, какой мне приснился страшный сон... Сэр Вильям, где же вы? Представьте, мне снилось, что я нищий и... Эй, кто тут есть? Стража! Сэр Вильям! Где же вы? Где дежурный лакей? Куда он запропастился? Нет, это им даром не сойдет...

– Что с тобой? – прошептал кто-то над самым ухом. – Кого ты зовешь?

– Сэра Вильяма Герберта. А ты кто такая?

– Я? Сестра твоя Нани. Кем же мне еще быть? Ах, Том, ведь я и забыла! Ты – сумасшедший, бедняжка! Лучше бы мне никогда не просыпаться, чтобы не вспоминать об этом! Смотри же, милый, пожалуйста, не болтай пустяков, а то он всех нас до смерти заколотит.

Принц в испуге вскочил на ноги, но острая боль от вчерашних побоев – он чувствовал ее во всем теле – заставила его с громким стоном упасть на солому.

– Боже мой, так это не сон! – воскликнул он горестно.

В тот же миг ужас и отчаяние воскресли в нем с новой силой, и он разом понял, что он уже не прежний избалованный, обожаемый принц, на которого с любовью устремлялись взоры целого народа, а презренный бедняк, нищий-оборвыш, пленник в этой клетке диких зверей, в этом притоне воров и бродяг.

Пока принц горевал таким образом, до слуха его долетел громкий шум и крики, раздававшиеся где-то неподалеку. Минуту спустя послышался стук в дверь. Джон Канти перестал храпеть и спросил:

– Кто там? Что надо?

– Знаешь ли, кого ты вчера угостил своей дубинкой? – крикнул голос снаружи.

– Не знаю, да и знать не хочу.

– Напрасно, брат; если бы ты знал, так запел бы другое. Ну да что уж



там: спасай свою голову, беги, пока не поздно. Этот человек отдает Богу душу, – это отец Эндрю!

– Господи, спаси и помилуй! – воскликнул Канти. В один миг он был на ногах и поднял всю семью.

– Живо спасайся, кто может, – скомандовал он хриплым голосом, – а не хотите – околевайте здесь одни!

Не прошло и пяти минут, как вся семья была на улице, спасаясь бегством. Джон Канти крепко держал за руку принца и тащил его за собой, грозным шепотом отдавая ему приказания:

– Смотри у меня, дуралей, держать язык за зубами! Не проболтайся, как наша фамилия. Я придумаю себе другую, чтобы сбить со следа этих негодяев. Смотри же, хорошенько заруби себе это на носу!

И, обернувшись к остальным членам семьи, он добавил:

– Если случится, что мы разбредемся, – сборный пункт будет на Лондонском мосту. Ожидать друг друга у последней суконной лавки и уж оттуда всем двигаться в Соутворк.

В эту минуту вся компания, вынырнув из полного мрака, неожиданно очутилась среди яркого освещения и несметной толпы, теснившейся на берегу реки с песнями, плясками и криками. Вдоль Темзы, насколько можно было видеть простым глазом, тянулся бесконечный ряд ярких потешных огней. Лондонский и Соутворкский мосты были иллюминированы; река пылала от горящих ракет. Ослепительные фейерверки то и дело прорезывали небо яркими молниями и падали вниз целым дождем сверкающих искр, превращая ночь в день. На каждом шагу попадались кучки подгулявшего народа; казалось, весь Лондон повысыпал из домов.

Джон Канти свирепо выругался и скомандовал отступление; но было поздно: живое море уже оттерло его от семьи, безнадежно сгнувшейся в этом водовороте. Тогда он еще крепче ухватил за руку принца, сердце которого забилось было безумной надеждой на освобождение, и опять потащил его за собой. Пробиваясь сквозь густую толпу и усердно работая локтями, Джон Канти нечаянно толкнул какого-то подгулявшего здоровенного водовоза. В ту же минуту дюжая рука крепко вцепилась ему в плечо.

– Нет, братец, дудки, не отвертишься! Куда это тебя несет, черт побери, когда весь честной народ должен радоваться и веселиться?

– Не твое дело! – отрезал Канти. – Пусти меня! Дай пройти, слышишь!

– А коли на то пошло, так не уйдешь же ты от меня, пока не выпьешь за принца Валлийского, – так-то, братец, – сказал подгулявший водовоз,

решительно загораживая ему дорогу.

– Нечего с тобой делать. Давай чарку, да пошевеливайся, что ли!

Тем временем их окружила толпа зевак.

– Чарку, подайте чарку! – кричал расходившийся гуляка. – Пусть выпьет мировую. Пусть осушит все до дна, коли не хочет отправиться на съедение к рыбам!

Принесли огромную, полную до краев чарку. Водовоз, ухватив ее одной рукой за ручку, другою рукой встряхнул за кончик воображаемую салфетку и, по старинному обычаю, поднес чарку Джону Канти, а тот, по заведенному исстари порядку, должен был одной рукой принять от него чарку, а другою снять с нее крышку. Принц на один миг почувствовал себя на свободе; не теряя времени, он юркнул в толпу и исчез. Еще минута, и его было так же трудно сыскать в этом волнующемся море людей, как шестипенсовик, брошенный в бушующий океан.

Как только мальчик ясно понял свершившийся факт, он забыл думать о Джоне Канти и занялся своими собственными делами. Скоро для него уяснился и другой удивительный факт, а именно, что в городе вместо него чествуют какого-то самозванного принца Валлийского. Из этого он немедленно заключил, что нищий-оборвыш Том Канти умышленно воспользовался счастливой случайностью и сделался самозванцем.

Теперь принц знал, что ему делать. Только бы найти дорогу в ратушу и заставить признать себя, – а там он уже уличит обманщика. Он находил, однако, что, прежде чем казнить Тома, т. е. повесить и четвертовать, как это полагалось по закону за государственную измену, следовало дать ему время покаяться и приготовиться к смерти.

## Глава XI

### В ратуше

Королевский баркас, в сопровождении пышной флотилии, торжественно плыл по Темзе среди целого леса роскошно иллюминированных шлюпок и барок. Звуки музыки оглашали воздух, берега были усеяны яркими кострами; вдали город пылал от бесчисленных потешных огней, а над ним возносились к небу стройные шпили зданий, униженные яркими огнями, придававшими им вид стрел, осыпанных драгоценными камнями. По мере того, как процессия продвигалась вперед, с берегов раздавались оглушительные крики приветствий и непрерывные залпы орудий.

Тому Канти, развалившемуся на шелковых подушках, все это казалось какою-то сказкой, волшебством; но для юных спутниц его – принцессы леди Елизаветы и леди Дженни Грей – такая роскошь была делом привычным.

Достигнув Доугета, флотилия свернула к Буклерсбери, скользя по чистым, прозрачным водам Вальбрука (канал, засыпанный двести лет тому назад и погребенный под целым рядом громадных зданий), и, минуя роскошно иллюминированные дома и запруженные народом мосты, остановилась в бассейне, именуемом в наши дни Бардж-Ярдом, – в самом центре старого лондонского Сити. Том вышел на берег и в сопровождении блестящей свиты прошел по Чипсайду, через Ольд-Джури и Базингаль-стрит, прямо в ратушу.

Здесь мальчик и его молоденькие спутницы были встречены с надлежащей церемонией лордом-мэром и альдерменами города в пурпурных мантиях и золотых цепях. Предшествоемые герольдами и сановниками, которые несли меч и жезл города, они вошли в парадный зал, где их усадили на возвышении под роскошным балдахином. Лорды и леди, которые должны были прислуживать за столом Тому и его юным подругам, заняли места за их стульями.

За другим столом, тоже на возвышении, только немного пониже, поместилась свита принца, именитые гости и городские магнаты. Члены палаты общин и остальные приглашенные разместились вокруг многочисленных столов, поставленных еще ниже, прямо на полу. Колоссальные статуи Гога и Магога – старинных стражей города –

равнодушно смотрели с высоты своих пьедесталов на это привычное для них зрелище: не одно поколение сменилось на их глазах. Затрубили трубы, герольды провозгласили начало пиршества, левая боковая дверь распахнулась, и появился тучный дворецкий в сопровождении слуг, которые с подобающей торжественностью несли внушительный дымящийся ростбиф.

После молитвы Том встал (его научили, как себя вести), и все собрание поднялось вслед за ним. Взяв в руки объемистый золотой кубок, он отпил из него и подал принцессе Елизавете; та передала его леди Дженни, – и кубок стал ходить вкруговую. Так начался банкет.

В полночь пир был в полном разгаре и представлял одно из живописнейших зрелищ, которыми так восхищались в старину. Описание этого пира и до сего дня сохранилось в безыскусном рассказе одного очевидца: «Когда среди залы очистили место, первыми выступили барон и граф, одетые турками, в длинных халатах из богатой восточной ткани с золотой искрой, в пунцовых бархатных чалмах с золотыми жгутами и с турецкими кривыми саблями на золотых перевязях. За ними вышли другой барон и другой граф, одетые на русский лад: в желтых атласных кафтанах с белыми и красными полосами и в высоких серых меховых шапках. На ногах у них были сапоги с острыми кверху носками, а в руках по топорыку. Потом шли рыцарь, лорд генерал-адмирал и с ними пять вельмож в пунцовых камзолах с глубокими вырезами сзади и спереди, зашнурованных на груди серебряными жгутами, в коротких пунцовых атласных плащах и в шапочках с перьями, как у танцовщиков: эти изображали пруссаков. Дальше потянулись факельщики с вычерненными, как у арабов, лицами, в пунцовых с зеленым полосатых кафтанах. За ними высыпали ряженные комедианты и менестрели, которые должны были петь и плясать. Знатные лорды не отставали от них и отплясывали так, что любо было смотреть».

Пока Том со своего возвышения любовался этой неистовой пляской и с восторгом следил за пестрым калейдоскопом быстро сменявшихся красок, – подлинный маленький принц, весь в грязи и лохмотьях, предъявлял свои права, яростно обличал изменника и гневно требовал, чтобы его впустили за решетчатые ворота ратуши. Обступившая его публика от души забавлялась этим непредвиденным развлечением: теснилась, давила друг друга, вытягивала шеи, чтобы хоть одним глазком взглянуть на маленького бунтовщика. Со всех сторон сыпались веселые шутки и остроты, приводившие бедного принца в еще большую ярость, а этого только и нужно было довольной толпе. Слезы смертельной обиды

подступили к глазам бедного мальчика, но он твердо стоял на своем и выдерживал насмешки с истинно царственным достоинством. Травля все усиливалась, издевательствам не было конца. Потеряв терпение, принц закричал:

– Презренные, бесчеловечные негодяи; говорят вам, что я принц Валлийский! И как я ни несчастен, как ни одинок, ни беспомощен, – я не уступлю. Я буду добиваться своих прав!

– Принц ты или нет, мне все равно; ты славный мальчик, и с этой минуты я тебе друг. Я тебе это докажу, и вряд ли ты когда-нибудь сыщешь другого такого верного друга, как Майльс Гендон... Полно же, мальчуган, успокойся, не надсаживайся понапрасну. Дай-ка, вот я по-свойски поговорю с этими подлыми крысами!

По манерам, костюму и фигуре говоривший смахивал на дона Сезара де Базана. Он был высокого роста, мускулист и статен. Его камзол и брюки из дорогой, но поношенной материи вылиняли и протерлись до основы; золотые украшения на камзоле помялись и потускнели; брыжи были скомканы и истрепаны; поломанное перо на широкополой шляпе все облезло; сбоку у него болталась длинная рапира в ржавых железных ножнах; общий вид был воинственный и сразу обличал старого, опытного рубаку. Речь этого фантастического субъекта была встречена взрывом громкого хохота и градом насмешек. Послышались крики: «Еще один ряженный принц! – Потише братцы, вишь, какой он свирепый! – Глядит-то как: точно хочет тебя съесть! – Отнимите у него мальчишку – в пруд его, в воду щенка!»

Счастливая идея понравилась; чья-то рука протянулась за принцем, но в тот же миг в воздухе сверкнула обнаженная рапира, и дерзкий очутился на земле, извиваясь под ее звонкими шлепками. Раздались яростные крики: «Хватай собаку! Бей его, бей негодяя!» Незнакомца окружили и прижали к стене. Он стал неистово отбиваться своей длинной рапирой. Нападающие валились направо и налево, но толпа, топча ногами упавших, подступала все ближе и ближе. Минуты несчастного были сочтены, гибель его казалась неизбежной, как вдруг раздались звуки трубы и громкий возглас: «Дорогу, дорогу королевскому гонцу!» – и конный отряд солдат врезался в толпу, которая со всех ног бросилась врассыпную. Отважный незнакомец, не теряя времени, подхватил принца на руки, поспешно выбрался из свалки и скоро был вне всякой опасности.

Теперь вернемся в ратушу. В самый разгар всеобщего ликования и шумных кликов пирующих раздались серебристые переливы рожка. В один миг все смолкло. Среди воцарившейся могильной тишины послышался

громкий голос: вестник, прибывший из дворца, читал воззвание к народу. Все слушали, затаив дыхание. Торжественно прозвучали заключительные слова:

– Король скончался!

Все присутствующие, как один человек, склонили головы и простояли так несколько мгновений в глубоком молчании; потом все разом опустились на колени, простирая руки к Тому, и оглушительный крик: «Да здравствует король!» – потряс стены здания.

Бедный, ошеломленный мальчик растерянно смотрел на это изумительное зрелище. Случайно взгляд его упал на коленопреклоненных принцесс и графа Гертфорда; вдруг в голове его мелькнула счастливая мысль, лицо оживилось, и, нагнувшись к лорду Гертфорду, он тихонько спросил его:

– Отвечайте мне по чести и совести: если бы я вздумал отдать приказание – такое, на которое имеет право только король, – посмели бы меня послушаться и не исполнить?

– Никто, мой повелитель, никто во всем государстве. В твоём лице приказывает властитель Англии. Ты король, и слово твоё закон, – отвечал лорд Гертфорд.

Тогда Том произнес громким, строгим голосом:

– Да будет же отныне королевское слово законом милосердия и да погибнут навеки кровавые законы! Встаньте с колен! Ступайте в Тауэр и скажите, что король дарует жизнь герцогу Норфольку!

Эти слова, переходя из уст в уста, как молния, облетели всю залу, – и минуту спустя, когда Гертфорд выходил из здания ратуши, раздался новый оглушительный крик:

– Конец царству крови! Да здравствует Эдуард, король Англии!

## Глава XII

### Принц и его избавитель

Выбравшись из толпы, Майльс Гендон и маленький принц узкими, кривыми переулками свернули к реке. Они беспрепятственно добрались до Лондонского моста и здесь опять попали в густую толпу. Гендон крепко держал за руку принца (виноват – короля). Грустная новость уже успела облететь весь Лондон, мальчик то и дело слышал со всех сторон: «Король скончался!» Сердце осиротевшего ребенка больно сжималось; он весь дрожал. Для него это была тяжелая утрата, большое горе, потому что грозный, суровый, страшный для всех тиран с ним был всегда добр и нежен. В эту минуту мальчик чувствовал себя самым несчастным, самым покинутым и беспомощным из Божьих созданий. Слезы брызнули из его глаз, застилая туманом все окружающее. Вдруг в ночной тишине грянул оглушительный крик: «Да здравствует король Эдуард Шестой!» Глаза ребенка радостно сверкнули, и маленькое сердечко забилося гордостью. «Право, в этом есть что-то особенное – торжественное и высокое, – подумал он. – Как странно чувствовать себя королем!»

Друзья с трудом прокладывали себе дорогу в густой толпе, наводнявшей Лондонский мост. Мост в ту пору насчитывал шестьсот лет своего существования, служил проезжей, шумной, многолюдной дорогой и представлял собой любопытную достопримечательность; по обе его стороны, от одного берега Темзы до другого, тянулись непрерывные ряды лавчонок и лавок с квартирами для торговцев наверху. Это был как бы отдельный, самостоятельный городок, имевший свои гостиницы и трактиры, свои погребки и распивочные, свои булочные, мелочные лавки, свой рынок, свои мастерские и даже свою церковь. Маленький спесивый городок смотрел на своих соседей – Лондон и Соутворк, для которых он служил связующим звеном, – как на предместья, и не придавал им ровно никакого значения. Это была, так сказать, вполне замкнутая корпорация, небольшое обособленное местечко, с единственной улицей в одну пятую мили длиною и с населением, которое с детства знало друг друга, как свои пять пальцев, точно так же, как знали друг друга их матери и отцы. Сокровенные домашние дела каждого, само собою разумеется, были тоже всем известны до мельчайших подробностей. Была здесь и своя аристократия – именитые старинные семьи мясников, булочников и т. п.,

занимавшие свои насиженные места в течение пяти-шести веков и знавшие от слова до слова великую историю старого моста со всеми ее необычайными легендами. Здесь и говорили-то на своем особенном языке, какого не услышишь нигде, кроме Лондонского моста, и думали по-своему, и даже лгали на свой собственный лад. Это была невежественная, ограниченная и самодовольная порода людей. Дети рождались и вырастали на мосту; на мосту старились и умирали, ни разу не переступив его границ и не увидев в целом мире ничего, кроме своего моста. Людям такого склада естественно было вообразить, что неугомонная сутолока, днем и ночью наполнявшая их улицу несмолкаемым шумом, грохотом, лошадиным ржанием, мычанием коров, блеянием баранов и глухим топотом ног, есть единственная в мире, достойная внимания вещь и что сами они – обладатели этого сокровища. Так оно и случилось, да и не мудрено: проходила ли процессия, проезжал ли с пышной церемонией король или герой, – где, как не у них (смешно даже об этом спорить) был такой несравненный, такой чудный вид из окон? И существовало ли на свете другое место, где бы могли так свободно развлекаться бесконечно длинные непрерывные колонны торжественных процессий?

Люди, родившиеся и выросшие на мосту, находили нестерпимой жизнь во всяком другом месте. Рассказывают, что один старик, дожив до семидесяти лет, вздумал было удалиться на покой и пожить в деревне. И что же? Он только потерял сон и целыми ночами ворочался с боку на бок в своей постели, – до такой степени угнетающей и страшной казалась ему деревенская тишина. Измучившись вконец, он, говорят, вернулся на свое старое пепелище, исхудалый и страшный, как привидение, и в первую же ночь уснул спокойным, мирным сном под убаюкивающий плеск реки и под привычный треск и грохот Лондонского моста. В те дни, о которых мы ведем речь, этот мост мог служить местом «наглядного обучения» английской истории для молодого поколения страны, представляя сплошь и рядом выставку посиневших, наполовину разложившихся именитых голов, вздетых на длинные пики и красовавшихся над его воротами. Впрочем, мы отклоняемся от рассказа.

Гендон жил в небольшой гостинице на Лондонском мосту. Когда он со своим маленьким другом подходил к дверям своей квартиры, кто-то окликнул их сзади хриплым голосом:

– Наконец-то ты явился! Уж теперь, брат, не улизнешь – дудки! Вот как намну я тебе хорошенько бока, так в другой раз, небось, не заставишь себя так долго ждать!

С этими словами Джон Канти протянул руку, намереваясь схватить



мальчугана.

– Полегче, полегче, приятель, – сказал Майльс Гендон, загораживая ему дорогу. – Какое тебе до него дело?

– Если уж тебе такая охота лезть в чужие дела, изволь, я скажу: это мой сын.

– Он лжет! – воскликнул запальчиво маленький король.

– Ладно, мальчуган, я тебе верю, хоть ты, говорят, и спятил с ума. Будь он даже и впрямь твой отец, – не бойся: не дам я тебя в обиду, если ты захочешь остаться у меня.

– Да, да, хочу, – он мне чужой, я его ненавижу и лучше готов умереть, чем идти с ним.

– Ладно, значит, и говорить больше не о чем.

– Ну, это мы еще посмотрим! – заревел Джон Канти, стараясь оттолкнуть Гендона. – Коли на то пошло, я его силой заставлю...

– Только тронь его, животное, и я, как гуся, проткну тебя насквозь этой рапирой! – закричал Гендон, хватаясь за оружие. Канти невольно попятился.

– Слушай, ты, – продолжал Гендон, – я спас этого мальчугана от разъяренной толпы таких же, как и ты, негодяев, которые чуть не убили его; неужели же ты думаешь, что я сделал это затем, чтобы бросить его в еще худшей беде? Отец ты ему или нет, – сказать по правде, я уверен, что ты лжешь, – но ему лучше умереть, чем жить под опекой такого негодяя, как ты. Слышал? Ну, и проваливай своей дорогой. Я, брат, не люблю бросать слова на ветер, да и не очень-то терпелив по природе.

Джон Канти пробормотал какое-то проклятие и скрылся в толпе. Поднявшись по лестнице на третий этаж и приказав по дороге, чтобы им подали поскорее поесть, Гендон со своим питомцем очутился у себя дома. Это была жалкая комната, с жесткой постелью, с расшатанной безногой мебелью, слабо освещенная двумя тоненькими свечами. Мальчик кое-как дотащился до постели и бросился на нее, изнемогая от голода и усталости. Он пробыл на ногах большую часть дня и ночи (потому что теперь было уже около трех часов утра) и за все это время не проглотил ни одной крошки.

– Пожалуйста, разбуди меня, когда накроют на стол, – пробормотал он сонным голосом и сейчас же заснул как убитый.

Гендон невольно улыбнулся.

«Ей-ей, – подумал он, – этот оборвыш так свободно чувствует себя в чужой квартире и так развязно завладевает чужими вещами, точно это его собственность! Хоть бы позволения попросил или извинился, – и не

подумал! Недаром он воображает себя принцем Валлийским; надо отдать ему справедливость, он недурно выдерживает свою роль. Бедный, беспомощный мышонок! Видно, колотили беднягу, пока не рехнулся. Ладно, теперь у тебя есть друг. Я спас его, – может быть, потому он и сделался мне так дорог; но, право, он мне полюбился – этот маленький смелый плутишка. Как он бесстрашно стоял перед разъяренной толпой! Как смело бросал ей вызов в лицо! А какое у него милое, нежное, кроткое личико теперь, когда он забыл во сне свои заботы и горе! Он у меня будет учиться. Я его вылечу; заменю ему старшего брата, буду его беречь и лелеять, стану о нем заботиться, – и горе тому, кто вздумает его обидеть! Пусть меня сожгут живьем, если я когда-нибудь это допущу».

Гендон нагнулся над мальчиком и с нежностью вглядывался в его сонное личико, то ласково поглаживая его по щеке, то поправляя его сбившиеся на лоб кудри своей большой загорелой рукой. Легкая дрожь пробежала по телу ребенка.

«Что же это, однако, какой я дурак! – прошептал Гендон, – Не догадался даже укрыть бедняжку. Вишь, как дрожит; еще, чего доброго, простудится насмерть... Как же тут быть? Поднять бы его и завернуть в одеяло – пожалуй, проснется, а сон для него теперь дороже всего».

Он огляделся, отыскивая, чем бы укрыть мальчугана, но, не найдя ничего, снял с себя камзол и осторожно укутал им спящего.

«Мне-то холод нипочем; я привык ходить налегке, – не беда, если и озябну, – пробормотал он и задумчиво зашагал по комнате, чтобы согреться. – Бедняжка воображает себя принцем Валлийским, – продолжал он вслух свои размышления. – Конечно, это нелепо, чтобы у нас в Англии объявился принц Валлийский теперь, когда настоящий принц перестал быть принцем и сделался королем. Но расстроенный мозг мальчика подавлен болезненной фантазией, и он не может сообразить, что ему следовало бы по-настоящему называться теперь королем... Если мой отец еще жив, если он не успел умереть за эти долгие семь лет, которые я провел в заточении, не получая из дому ни одной весточки, он наверно примет и приютит бедняжку ради меня. В старшем брате Артуре я тоже уверен... Вот разве младший, Дуг... Ну, да я на месте убью этого лукавого негодяя, если он осмелится впутаться в это дело. Решено: мы с ним завтра же отправимся домой, – так-таки прямой дорогой и пустимся».

В эту минуту вошел слуга с дымящимся кушаньем, поставил на хромоногом столе приборы и блюда, придвинул два стула и вышел, предоставив мелкотравчатым жильцам самим себе прислуживать за обедом. Выходя, он хлопнул дверью и разбудил мальчугана. Принц

вскочил, сел на постели и весело оглянулся, но вслед затем лицо его омрачилось грустью, и он прошептал с громким вздохом:

– Ах, это был только сон! Какое горе!

Тут взгляд его упал на камзол Майльса Гендона; мальчик посмотрел на его владельца и понял, какую жертву тот принес для него.

– Вы очень добры ко мне, – ласково обратился он к Гендону, – очень добры! Возьмите его и сейчас же наденьте, мне он больше не нужен.

Он встал, подошел к умывальнику и остановился перед ним, точно чего-то выжидая.

– Да какой у нас вкусный суп! Какое жаркое, просто чудо! – весело воскликнул Гендон. – Прямо с огня – дымитесь! Вот посмотришь: сон да еда разом сделают тебя опять молодцом!

Мальчик не отвечал; молча, полным удивления взглядом и даже с некоторым нетерпением он смотрел на Гендона, как будто хотел дать ему понять, что теперь болтать не время.

– Что с тобой? – с удивлением спросил тот.

– Сэр, я хотел бы умыться.

– Только-то! Да умывайся себе на здоровье; на это не требуется разрешения Майльса Гендона. Так и знай, ты здесь такой же хозяин, как я.

Но мальчик не трогался с места и, по-прежнему в упор глядя на Гендона, нетерпеливо постукивал своей маленькой ножкой.

Гендон недоумевал.

– Да что же с тобой, наконец?

– Налейте мне, пожалуйста, воды вместо того, чтобы попусту тратить слова!

Гендон, едва удерживаясь от смеха, подумал: «Клянусь Богом, это неподражаемо!» Однако сейчас же подошел к умывальнику и, беспрекословно исполнив требование дерзкого мальчугана, стал молча глядеть на него в глубокой задумчивости, из которой был выведен новым окриком: «Что же вы? Подайте мне полотенце!» Гендон покорно подал полотенце, которое висело тут же на гвозде, под самым носом у мальчугана. Затем, следуя примеру своего питомца, он приступил к омовению собственной персоны. Тем временем принц уселся за стол и приготовился кушать. Умывшись на скорую руку, Гендон подошел к столу, отодвинул стул и собрался было сесть за обед.

– Как, ты хочешь сесть в присутствии короля?! – гневно остановил его мальчик.

Это восклицание до глубины души поразило Гендона. «Вот так штука, – пробормотал он, – теперь он воображает себя королем! Видно, с

великими переменами в государстве изменился и пункт его помешательства! Что делать, хочешь не хочешь, придется приспособливаться к обстоятельствам, не то как раз угодишь в Тауэр».

И, довольный своей остротой, Гендон отставил на место свой стул и, поместившись за спиной маленького короля, принялся ему прислуживать, как умел.

По мере того, как король насыщался, строгость его королевского величества понемногу таяла, и вместе с возрастающим чувством удовлетворения явилось желание поболтать.

– Ты говорил, если я не ошибаюсь, что тебя зовут Майльс Гендон? – спросил он.

– Да, Ваше Величество, – отвечал Майльс и подумал: «Уж если потакать бедняжке, так нельзя делать дело наполовину. Величать, так уж величать всеми подобающими титулами».

Король угостил свою царственную особу вторым стаканчиком вина и промолвил:

– Я бы хотел поближе с тобой познакомиться; Расскажи-ка мне свою жизнь. Ты, кажется, человек очень храбрый и, должно быть, благородного рода... Ведь ты дворянин?

– Да, по рождению дворянин, Ваше Величество... Отец мой – баронет из мелкопоместных дворян – сэр Ричард Гендон из Гендон-Голла, близ Монк-Гольма в Кенте.

– Что-то не припомню такой фамилии... Ну, рассказывай дальше.

– Да нечего и рассказывать-то, Ваше Величество; всю мою жизнь можно передать в двух словах. Мой отец, сэр Ричард, – человек благородной души и очень богат. Матушка умерла, когда я был еще ребенком. У меня двое братьев: Артур – старший, такой же великодушный и благородный, как отец, и Гуг – самый младший из нас троих, – хитрая, лукавая, коварная и до мозга костей порочная гадина. Таким он был с колыбели, таким же я его и оставил, когда с ним расстался: это был законченный девятнадцатилетний негодяй. Мне в то время только что минуло двадцать, а старшему брату шел двадцать третий год. Вот и вся наша семья, кроме леди Эдифи, моей кузины, которой тогда только что исполнилось шестнадцать лет... Это была хорошенькая, милая и добрая девушка, дочь графа, последняя в роде, наследница хорошего состояния и громкого титула. Мой отец был ее опекуном. Мы с ней полюбили друг друга, но она была с детства помолвлена с братом Артуром, и сэр Ричард слышать не хотел о том, чтобы нарушить данное слово. Артур любил другую и уговаривал нас не унывать и не терять надежды, уверяя, что со

временем все уладится к нашему общему счастью и благополучию. Гуг давно точил зубы на леди Эдифь; он был влюблен в ее богатство, хоть и уверял, что любит ее саму; но такой уж у него был нрав: он всегда говорил одно, а думал другое. Чего-чего он только ни делал, чтобы понравиться леди Эдифи, – но все напрасно: ему никого не удалось провести, кроме отца. Отец любил Гуга больше нас всех и верил каждому его слову, потому что Гуг был младший и никто терпеть его не мог, а этого совершенно достаточно, чтобы размягчить родительское сердце. Вдобавок Гуг был большой мастер лгать и в совершенстве умел льстить. Не мудрено, что ему удалось обмануть отца, который и без того души в нем не чаял. Я был в то время пылким, взбалмошным юношей, – прямо сказать, большим ветрогоном, хотя мои проказы были самого безобидного, свойства; у меня и в мыслях не было кого-нибудь обидеть или оскорбить, и никогда я не был повинен в чем-нибудь постыдном, низком или позорном для моего дворянского достоинства.

Однако Гуг сумел воспользоваться моими недостатками. Видя, что Артур слаб здоровьем и недолговечен и, следовательно, не опасен для него как соперник, он решил убрать меня со своей дороги... Ну, да это длинная история, не стоит рассказывать. Короче сказать, он искусно раздувал мои мальчишеские проказы и возводил их чуть ли не в преступления, так что наконец, когда он нашел у меня в кармане веревочную лестницу (которую сам же подбросил) и с помощью подкупленных слуг доказал, что я собирался похитить леди Эдифь и тайно обвенчаться с нею вопреки родительской воле, отец с первого слова поверил ему. «Три года изгнания из дома и из Англии сделают из него человека и brave воина, – решил отец. – Попробуй-ка поживи своим умом», – сказал он мне на прощанье. В долгие годы моего изгнания я был участником нескольких войн на континенте; а сколько натерпелся бед, сколько видел невзгод и лишений, – так и не перечесать. Наконец, в последнем сражении я был взят в плен и целых семь лет протомился в темнице. Иной раз круто мне приходилось в эти семь лет. Благодаря мужеству и находчивости мне удалось вырваться на свободу, и я бежал. Я только что приехал сюда, без гроша денег в кармане, весь оборванный, точно нищий. Но ужаснее всего то, что я до сих пор ничего не знаю о Гендон-Голле... Вот и вся моя грустная история, Ваше Величество.

– Какая низость! Он подло с тобой поступил! – воскликнул маленький король, гневно сверкая глазами. – Но будь покоен, я этого так не оставлю – я велю тебя вознаградить и возвращу тебе твои права, клянусь святым крестом! Можешь положиться на мое королевское слово!

Растроганный рассказом бедного Майльса, мальчик и сам пустился в откровенности и с жаром поведал ему историю своих невероятных приключений. Майльс слушал его, остолебев от удивления, и, когда он кончил, невольно подумал:

«Вот так богатая фантазия! Чем больше я его узнаю, тем для меня яснее, что у него недюжинный ум; не всякий, даже в здравом рассудке, придумал бы такую ловкую сказку. Сколько в ней жизненной правды, сколько воображения! Нет, бедный крошка, пока я жив, ты не будешь одиноким на свете. Я стану заботиться о тебе всю мою жизнь; ты всегда будешь моим баловнем, моим любимым товарищем. Я тебя вылечу!.. А когда ты вырастешь и создашь себе громкое имя, я буду гордиться тобой и скажу: «Да, он мой, – я подобрал его бездомным бродягой, но и тогда я уже видел, что из него выйдет толк, и знал, что имя его прогремит... Смотрите же на него, любуйтесь, – разве я не был прав?»

Между тем король, помолчав, проговорил задумчивым, сосредоточенным тоном:

– Ты спас меня от оскорблений и позора: быть может, ты даже спас мне жизнь и, следовательно, сохранил мне корону. Такая услуга требует великой награды. Скажи же мне, чего ты хочешь, и если исполнить твое желание в моей власти, оно будет исполнено. Это фантастическое предложение вывело Гендона из задумчивости. Он собрался было поблагодарить Его Величество за высокую милость и, отговорившись тем, что исполнил только долг, не требующий награды, хотел отвлечь его внимание на другой предмет, как вдруг ему пришла в голову остроумная мысль, и он попросил короля дать ему несколько минут на размышление. Маленький король снисходительно выразил свое согласие, с комичной серьезностью одоблив его разумное решение хорошенько обдумать столь важный вопрос.

После недолгого раздумья Майльс решил: «Да, конечно, ничего другого мне не остается, – не знаю, как иначе и выпутаться из беды. Я теперь на опыте убедился, как трудно было бы поддерживать эту комедию... Счастье еще, что мне вовремя пришло это в голову. Другого такого случая, может быть, и не представится». Он преклонил колени и начал так свою речь:

– Государь, мои скромные услуги не выходят из границ верноподданнического долга. Я не чувствую за собой никакой заслуги, но если уж Вашему Величеству благоугодно будет удостоить меня награды, – я осмелюсь просить об одной милости. Четыре столетия тому назад, как известно Вашему Величеству из истории, между королем Англии Джоном

и французским королем разгорелась кровавая вражда, которую положено было разрешить так называемым судом Божиим, то есть единоборством двух воинов. Сошлись оба короля и еще третий – король испанский, чтобы быть свидетелями и судьями предстоящего поединка. На арену вышел французский боец; но он был так силен и так страшен, что никто из английских воинов не решился померяться с ним силами и дело, столь важное для английского монарха, было проиграно. В то время в Тауэре томился в заточении лорд де Курси – лучший боец во всей Англии; он был лишен своих прав и владений и приговорен к долгосрочному тюремному заключению. О нем вспомнили и послали за ним; он принял вызов и сейчас же в полном вооружении явился на бой. Но как только француз увидел лорда де Курси и услышал его славное имя, он повернулся, постыдно убежал, и Англия осталась победительницей. Король Джон возвратил лорду де Курси все его титулы и поместья и сказал: «Проси какой хочешь награды; если бы даже ты попросил у меня полцарства, просьба твоя будет исполнена», – и де Курси, став на колени, вот как я теперь стою, отвечал: «Прошу тебя об одной милости, государь: даруй мне и всему последующему моему роду привилегию оставаться с покрытою головой в присутствии короля Англии, покуда будет существовать английский престол». Просьба его была исполнена, как известно Вашему Величеству; с тех пор, в течение четырехсот лет, мужские потомки фамилии де Курси не переводятся, и старшие представители этого старинного рода до сего дня не обнажают головы – не снимают ни шляпы, ни шлема в присутствии короля Англии, чего не осмеливается делать никто другой. По примеру этого знатного рыцаря и я прошу у Вашего Величества единственной милости, и для меня это будет вполне достаточной наградой. Я прошу, чтобы отныне я и мои наследники пользовались привилегией сидеть в присутствии английского короля.

– Встань, сэр Майльс Гендон – отныне рыцарь! – величественно произнес король, ударив Гендона по плечу шпагой плашмя, как этого требовал обычай посвящения в рыцари. – Встань и садись. Твоя просьба исполнена. Пока существует Англия и в ней короли, эта привилегия останется за твоим родом!

С этими словами Его Величество встал с места и зашагал по комнате, о чем-то размышляя, а Гендон уселся за стол. «Счастье мое, что я вовремя догадался, – рассуждал он сам с собой. – Это сущее избавление, – я не чувствую под собою ног от усталости. Не осени меня эта счастливая мысль, мне, чего доброго, пришлось бы простоять недели и месяцы. Когда-то еще бедняжка поправится!.. Итак, я попал в рыцари призрачного царства

грез! – продолжал Гендон свои размышления. – Довольно нелепое, можно сказать, звание для такого положительного, простого человека, как я. Я не смеюсь, – сохрани меня Боже смеяться над такими вещами: то, что для меня – бред и грезы, для него – действительность. Но для меня не все бред в его поступках, потому что они доказывают, какое у него чудесное, доброе и благородное сердце... А что если он вздумает величать меня моим новым титулом! – вдруг пришло ему в голову. – Нечего сказать, хорош рыцарь в моих-то лохмотьях! Что делать, пусть уж зовет меня, как ему вздумается, – я всем буду доволен».



## Глава XIII

### Исчезновение принца

Скоро обоих друзей стало сильно клонить ко сну.

– Сними с меня эти лохмотья, – сказал король, указывая на свое платье.

Гендон беспрекословно раздел мальчугана, уложил его в постель и, оглядев комнату, с невольной грустью подумал: «Опять я без постели. Как тут быть?» Маленький король заметил смущение своего друга и рассеял его одним словом.

– А ты ложись у дверей и стереги меня, – сказал он сонным голосом. Спустя минуту он забыл все свои невзгоды и погрузился в глубокий сон.

– Милое дитя! Ну, право же, ему следовало родиться королем! – с восторгом прошептал Гендон. – Король, да и только!

И, растянувшись на полу у порога, он прибавил с довольным видом:

– Приходилось мне спать и похуже за эти семь лет, и грешно бы мне было теперь жаловаться.

Он уснул, когда в окно уже глядел серый рассвет. Около полудня он встал, тихонько откинул одеяло со своего спящего питомца и принялся осторожно снимать с него веревочкой мерку.

Тут мальчик проснулся, сказал, что озяб, и спросил Гендона, что он делает.

– Уже все кончено, государь, – отвечал Гендон. – У меня есть небольшое дельце; мне надо отлучиться, но я скоро вернусь. А вы бы пока еще уснули, Ваше Величество, – вам надо отдохнуть. Я закутаю вас с головой, чтобы вам было теплей.

Король погрузился в мир сновидений прежде, чем Гендон успел договорить. Майльс тихонько вышел и через час так же осторожно вернулся с полной парой дешевого и поношенного, но еще крепкого и по сезону теплого платья для мальчика.

Усевшись на стул, он принялся, вещь за вещь, разглядывать свою покупку, бормоча себе под нос: «Будь у меня карман потолще, и платье было бы не тот сорт, а когда карман тонок, приходится довольствоваться и этим». И он замурлыкал вполголоса свою любимую песенку:

Как в одной деревушке

Жила-была старушка;  
Жила-была старушка  
В одной деревушке...

Но оборвал на полуслове.

– Эх, нашел время, распелся! Не разбудить бы его, пусть хорошенько выспится, бедняжка; он так устал, а путь нам предстоит еще долгий... Камзол недурен, право; кое-где поушить, и совсем будет ладно. Штанишки, пожалуй, еще лучше, хоть и их придется чуть-чуть поубавить... Зато башмаки просто прелесть! В этих башмаках его ножкам будет и сухо, и тепло. Он ведь, бедняжка, к этому не привык; небось круглый год, зиму и лето, щеголял босиком... Эх, кабы да за один фартинг давали столько хлеба, как ниток, – на целый бы год человеку хватало... Да еще такую славную толстую иглу дали в придачу... Ну и возни же мне теперь будет, пока я ее вдену.

И в самом деле, ему пришлось повозиться. Как это всегда делают и до скончания века будут делать мужчины, – он одною рукой неподвижно держал иголку, а другой старался продеть нитку в ушко (женщины в этом случае поступают как раз наоборот). Нитка никак не попадала в ушко: то проскальзывала мимо, то упиралась в иглу и заворачивалась петлей; но Гендон был терпелив, да ему и не в новостр было заниматься этой работой – недаром он был солдатом. Наконец нитка была вдета, и он прилежно принялся за шитье.

– В трактире заплачено все вплоть до сегодняшнего завтрака; того, что у меня осталось, за глаза хватит на покупку пары ослов в дорогу и на мелкие путевые издержки дня на два-три; а там мы с ним и в Гендон-Голле.

Она крепко любила своего ста...

– О, чтоб тебе! Вот так укололся! Чуть всю иглу не всадил под ноготь! Ничего, не впервой, – поболит и заживет... Только бы нам добраться до дому, мой мальчик, а уж там-то мы заживем припеваючи. Забудешь ты свои горести, и всю твою болезнь как рукой снимет...

Она крепко любила своего старика,  
А он крепко любил...

– Какие стежки – на славу! – продолжал Гендон, любуясь своей работой. – Крупные, внушительные, не то что плюгавые, жалкие стежочки какого-нибудь портного...

Она крепко любила своего старика,  
А он крепко любил молодую.

– Готово. Вот так работа! И скоро, и хорошо! Теперь только разбудить его, умыть, обуть, одеть, накормить, да и в путь, и первым делом в Соутворк, на рынок у Табардского трактира... Не угодно ли вставать, государь! Молчит, – вишь, как заспался! Ваше Величество, пора вставать! Не слышит... Ничего не поделаешь; придется, видно, растолкать его священную особу. Что это? Господи!!!

Он приподнял одеяло – постель была пуста: мальчик исчез...

На минуту Майльс остолбенел в немом изумлении; но, оглядевшись и заметив, что вместе с мальчиком исчезли и его лохмотья, он поднял целую бурю и стал неистово кричать, призывая хозяина. Как раз в эту минуту слуга принес завтрак.

– Сейчас же говори, дьявольское отродье, или я тебя задушю! – завопил Майльс, яростно набрасываясь на слугу, опешившего от испуга и неожиданности. – Где мальчик?

Заикаясь от страха, слуга дал требуемое объяснение.

– Только вы изволили давеча выйти, прибежал какой-то парень и сказал мне, что ваша милость требует мальчика к себе и приказываете ему сейчас же прийти на мост, в тот конец, что со стороны Соутворка. Я привел парня сюда; когда он разбудил мальчугана и передал ему ваше поручение, тот разворчался, зачем его «будят с петухами», как он выразился, однако сейчас же оделся, и они ушли. Уходя, мальчик сказал еще, что ваша милость лучше бы сделали, если бы сами пришли за ним вместо того, чтобы присылать чужого... и еще...

– И еще – ты болван! Болван, которого проведет всякий дурак и которого мало повесить!.. Впрочем, что же это я прихожу в отчаяние? Может быть, с ним еще ничего не случилось. Надо его отыскать. А ты пока накрой на стол. Что это! Одеяло брошено так, точно на кровати кто-то лежит... Может быть, это сделано с умыслом?

– Не могу знать, ваша милость! А только я видел, как тот парень что-то возился тут, возле кровати.

– Проклятый! Это сделано, чтобы меня обмануть, – им нужно

выиграть время. Послушай, парень приходил один?

– Как есть один, ваша милость!

– Ты в этом уверен?

– Точно так, ваша милость.

– Подумай хорошенько – не торопись – припомни.

Слуга подумал с минуту, потом сказал:

– Приходил-то он один, это верно, только теперь я припоминаю, что когда они с мальчиком вышли на улицу, к ним подскочил какой-то оборвыш преподозрительного вида, и только было он к ним подлетел...

– Что же, что? Говори, не мучь ты меня! – нетерпеливо перебил его Гендон.

– Они и пропали в толпе. Так я их больше и не видел, потому что тут меня как раз кликнул хозяин, который страшно сердился за то, что я забыл будто бы подать заказанное одним постояльцем жаркое. А когда я стал его уверять, что я так же в этом виноват, как новорожденный младенец, он...

– Вон с глаз моих, болван! Ты с ума меня сведешь своей болтовней! Стой! Куда ты бежишь? Трудно тебе постоять минуту на месте? Куда они пошли: к Лондону или к Соутворку?

– К Соутворку, ваша милость... Я ему говорю: не мне заказывали это проклятое жаркое и неповинен я, как новорожденный младенец, а он...

– Ты все еще тут? И опять со своей болтовней? Вон! – или я тебя задушу.

Слуга моментально исчез. Гендон бросился за ним следом, перегнал его, прыгая через две ступени сразу, и как бешеный выскочил на улицу, бормоча:

«Сомнения нет, что это тот негодяй, кому быть больше? Я потерял тебя, мой маленький безумный король, это ужасно!.. Я так тебя полюбил! Нет, клянусь честью, я с этим не примирюсь! Я найду его, хотя бы мне пришлось перевернуть весь город вверх дном. Бедный мой мальчик! А завтрак-то тебя ждет и меня с тобой вместе, да где уж тут завтракать, – пусть достается на съедение крысам. Скорей за дело, время не терпит!» – и, продираясь сквозь густую толпу на мосту, Майльс то и дело повторял себе, точно находил в этом утешение: «Рассердился голубчик, а все-таки пошел, – пошел, потому что думал, что его зовет Майльс Гендон. Он не сделал бы этого ни для кого другого – я знаю».

## Глава XIV

### Le Roi est mort, vive le Roi!

В тот же день на рассвете Том Канти проснулся в испуге и широко открытыми глазами уставился перед собой в темноту. Так пролежал он несколько минут, тщетно стараясь собрать перепутавшиеся мысли и воспоминания. Вдруг он вздохнул с облегчением и радостно произнес сдержанным шепотом:

«Слава Богу, это был только сон! Хорошо, что я наконец проснулся и все прошло, – какое счастье! Нани, Бетти, подите сюда поскорей! Что я вам расскажу! – такие чудеса, что вы и не поверите! Какой я видел сон! Нани, Бетти, идите же, вам говорят!»

Вдруг какая-то темная фигура выросла, как из-под земли, у самого его изголовья, и чей-то голос сказал:

– Что изволите приказать?

– Приказать?.. Боже мой, я, кажется, узнаю этот голос. Скажи мне, ты знаешь, кто я?

– Вчера еще ты был принцем Валлийским, сегодня ты наш все милостивейший государь и повелитель, Эдуард, король Англии!

Том уткнулся в подушку и с отчаянием прошептал: «Так это был не сон! Ступайте, усните, мой добрый сэр; оставьте меня одного с моим горем».

Мальчик опять уснул, и ему привиделся чудный сон. Ему снилось, что было лето и он один-одинешенек играл в прелестном Гудмансфильдском саду, как вдруг, откуда ни возьмись, перед ним вырос рыжий карлик, не больше фута ростом, с огромным горбом на спине. «Копай вот здесь, у этого пня», – сказал карлик. Том стал копать и вырыл двенадцать новеньких блестящих пенсов – целый клад! Но это было еще не все.

– Я тебя знаю, – сказал ему карлик. – Ты славный мальчик. Твоим невзгодам пришел конец; я хочу тебя наградить. Приходи сюда каждую неделю и каждый раз будешь находить на этом месте твое богатство: двенадцать новеньких пенсов. Смотри только, молчи, никому не выдавай секрета.

Карлик исчез, а Том со своим сокровищем со всех ног пустился бежать в Оффаль-Корд. «Каждый вечер, – раздумывал он дорогой, – буду давать отцу по одному пенни; он подумает, что это милостыня, будет доволен и

перестанет бить меня за то, что я прихожу с пустыми руками. Другой пенни буду отдавать доброму отцу Эндрю, а остальные четыре останутся матери и Нани с Бетти. Теперь конец нашим голодовкам, конец побоям, нужде и горю».

Тому снилось, что он так быстро бежал, что даже запыхался. Вот наконец и Оффаль-Корд. Едва переводя дух, с сияющими глазами, влетает он в дом и высыпает свое сокровище матери на колени.

– Это все вам! Всем хватит... и тебе, и Нани, и Бетти... Я не выпросил их и не украл; они мне честно достались.

Удивленная, счастливая мать крепко прижимает его к груди и говорит:

– Уже поздно; не угодно ли будет Вашему Величеству вставать?

Не такого ответа ждал бедный Том. Улетели счастливые грезы – мальчик проснулся.

Он открыл глаза и прежде всего увидел у своей постели разодетого коленопреклоненного лорда – первого спальника. Сон его мигом слетел, и бедный мальчик понял, что он – король и узник по-прежнему. Комната была полна царедворцами в коротких пурпурных плащах (в то время траурный цвет при дворе). Все это были именитые слуги монарха. Том сел на постели и из-за тяжелых шелковых занавесок молча рассматривал это нарядное собрание.

Началась сложная процедура облачения, во время которой придворные один за другим преклоняли перед Томом колени и приносили ему свои соболезнования по поводу постигшей его тяжелой утраты. Прежде всего дежурный обер-шталмейстер взял рубашку и передал ее лорду первому егермейстеру; тот в свою очередь отдал ее лорду второму спальнику, этот – главному лесничему Виндзорского леса, а тот – третьему лорду спальнику; от него рубашка перешла канцлеру герцогства Ланкастер, потом к обер-гардеробмейстеру, к председателю капитула несуществующего ордена, к коменданту Тауэра, к лорду-сенешалю, к наследственному стольнику, к лорду генерал-адмиралу, к архиепископу Кентерберийскому и, наконец, к лорду первому спальнику, который принял ее и собственноручно облачил в нее Тома. Бедный мальчуган совсем оторопел. Это напоминало ему, как передаются ведра с водой на пожаре.

Каждая вещь его туалета торжественно совершала полный круг, прежде чем доходила до него. Все это страшно ему надоело, до того надоело, что он от всей души возблагодарил судьбу, когда его длинные шелковые чулки начали свое хождение по мытарствам, суля ему скорое избавление. Но мальчик поторопился радоваться. Обойдя полный круг, чулки перешли в руки лорда первого спальника; лорд спальник готовился

уже облечь в них ноги Тома, но вдруг весь вспыхнул, проворно сунул их обратно в руки архиепископа Кентерберийского и прошептал в испуге: «Нет, вы только взгляните, милорд!» Архиепископ побледнел, как мертвец, и поспешно передал чулки лорду генерал-адмиралу, повторив испуганным шепотом: «Взгляните, милорд!» Генерал-адмирал в ужасе едва пролепетал: «Взгляните, милорд!» и передал их наследственному лорду стольнику. И опять пошли по мытарствам несчастные чулки, но только на этот раз уже в обратном порядке: от лорда-сенешаля к коменданту Тауэра, от коменданта Тауэра к председателю капитула несуществующего ордена, к обер-гардеробмейстеру, к королевскому канцлеру герцогства Ланкастер, к лорду третьему спальнику, к главному лесничему Виндзорского леса, к лорду второму спальнику, к лорду обер-егермейстеру и так далее по всей линии, вызывая зловещий, взволнованный шепот: «Взгляните, милорд!» Наконец они попали в руки дежурного обер-шталмейстера. С минуту он растерянно смотрел на предмет, наделавший столько переполоха, потом, побледнев, произнес хриплым шепотом: «Клянусь честью – без завязок! В Тауэр смотрителя гардероба! В Тауэр его!» С этими словами бедный лорд в изнеможении припал к плечу лорда первого егермейстера и оправился только тогда, когда были принесены другие чулки, у которых все завязки были на месте.

Однако всему на свете бывает конец, и Том Канти с течением времени оказался в состоянии сойти с постели. Особое должностное лицо налило ему в таз воды для умывания, особое должностное лицо руководило этой торжественной операцией, особое должностное лицо стояло тут же с полотенцем наготове, – и наконец Том, пройдя постепенно торжественную процедуру омовения, перешел в распоряжение придворного парикмахера. Когда мальчуган вышел из рук этого мастера своего дела, он стал изящным и хорошеньким, как девочка, в своем пунцовом атласном камзоле и в шапочке с пунцовыми перьями. В таком виде его торжественно повели в столовую завтракать. Пока он проходил длинную анфиладу комнат, блестящие ряды царедворцев расступались и падали перед ним на колени.

После завтрака нового короля с королевскими почестями, в сопровождении личных его адъютантов и конвоя из пятидесяти человек телохранителей, вооруженных золотыми секирами, привели в тронный зал, где ему предстояло заняться государственными делами. Дядя его, лорд Гертфорд, поместился у самого трона, чтобы в затруднительных случаях помочь королю своим мудрым советом.

Первыми предстали перед троном несколько человек знатных лордов, назначенных душеприказчиками покойным королем. Они явились за

получением резолюции по поводу некоторых составленных ими актов (что делалось отчасти ради одной проформы, отчасти же вызывалось необходимостью, так как протектор еще не был назначен). Архиепископ Кентерберийский прочел постановление совета душеприказчиков относительно церемонии погребения тела покойного государя вплоть до заключительного длинного ряда подписей: архиепископ Кентерберийский; лорд-канцлер Англии; Вильям, лорд Сент-Джон; лорд Джон Россель; Эдуард, граф Гертфорд; Джон, виконт Лиль; Кутберт, епископ Дургамский и так далее.

Том давно уже перестал слушать: один пункт документа поглотил все его внимание. Он не вытерпел и, обернувшись к лорду Гертфорду, шепнул:

- На какой день, он сказал, назначено погребение?
- На 16-е число будущего месяца, государь.
- Какое безумие! Разве он продержится до тех пор?

Бедный Том никак не мог освоиться с придворными порядками; он привык, что у них в Оффаль-Корде старались сбывать с рук покойника как можно скорее и с похоронами спешили, как на пожар. Лорд Гертфорд сумел, однако, успокоить его двумя-тремя словами.

Государственный секретарь прочел постановление совета, назначившего в одиннадцать часов на следующий день прием иностранных послов. Постановление это требовало утверждения государя. Том вопросительно взглянул на лорда Гертфорда.

– Не угодно ли будет Вашему Величеству дать свое согласие? – шепнул тот. – Они явятся от лица своих повелителей выразить вам соболезнование по поводу тяжелой утраты, постигшей вас и всю Англию.

Том покорно исполнил этот совет.

Второй секретарь прочел смету расходов двора за последние полгода прошлого царствования, сумма которых простиралась до двадцати восьми тысяч фунтов стерлингов. Эта цифра ошеломила Тома, но он был еще больше поражен, когда из дальнейшего доклада выяснилось, что двадцать тысяч фунтов остаются неуплаченными и денег на их уплату нет, так как сундуки покойного короля пусты, и что поэтому тысяча двести человек дворцовой прислуги, не получая жалованья, находятся в очень стесненном положении. Этого Том не мог переварить.

– Но ведь так мы разоримся! По-моему, необходимо сейчас же нанять дом поменьше и распустить хоть часть прислуги, тем более что эти люди никому не нужны и только досаждают своими непрошенными услугами, в которых могут нуждаться разве одни только безмозглые и безрукие куклы... Я знаю небольшой домик неподалеку от рыбного рынка в



Биллингсете; вот если бы...

Быстрое прикосновение руки графа Гертфорда остановило пылкий поток красноречия Тома, и мальчик, весь вспыхнув, разом умолк; но никто из присутствующих и виду не подал, что слышал его безумные речи.

Затем был прочтен следующий доклад о том, что, согласно последней воле покойного государя, пожаловавшего лорду Гертфорду герцогский сан, удостоившего возвести его брата, сэра Томаса Сеймура, в звание пэра, а сына его – в звание графа, и даровавшего другие милости знатнейшим слугам престола, совет постановил назначить заседание на 16 февраля для распределения и утверждения этих милостей. А так как покойный король не сделал необходимого письменного распоряжения о пожаловании вышепоименованным лицам поместий, соответствующих их будущему высокому сану, то совет, зная личные желания покойного государя на этот счет, предполагает: пожаловать лорду Сеймуру поместье с годовой доходностью в пятьсот фунтов, а сыну графа Гертфорда – с годовой доходностью в восемьсот фунтов, с тем чтобы дар этого последнего был в случае смерти кого-нибудь из епископов пополнен из доходов покойного еще тремястами фунтов.

Том приготовился было вычеркнуть кое-что из этих пожалований на уплату королевских долгов, но предусмотрительный граф Гертфорд вовремя остановил его и спас от нового промаха. Итак, Его Величество беспрекословно, хоть и не очень охотно, дал свое королевское согласие. Пока он раздумывал о всех чудесах, творившихся с такою легкостью на его глазах и при его участии, ему пришла в голову счастливая мысль: почему бы ему не пожаловать свою мать саном герцогини Оффаль-Кордской и соответствующими этому званию поместьями? Но он тут же понял всю дерзкую смелость такой мечты: ведь он – король только по названию; все эти именитые лорды и заслуженные ветераны распоряжаются им, как хотят; для них его мать – плод его расстроенного воображения; выслушав его, они ему не поверят и пошлют за доктором – вот и все.

Между тем скучные занятия государственными делами шли своим чередом. Раздавались патенты, награды, читались сметы, доклады и разные другие замысловатые бумаги самого тоскливого содержания. Наконец Том вздохнул и прошептал: «Господи, чем я согрешил, что Ты так тяжело меня караешь! За что Ты отнял у меня свободу, воздух, солнце? За что сделал меня королем?» Тут его бедная усталая головка склонилась на грудь; он уснул, и государственная машина остановилась за отсутствием решающего королевского голоса. Вокруг уснувшего мальчугана наступила тишина; государственные мужи хранили гробовое молчание.

Перед самым обедом на долю Тома выпал счастливый часок благодаря его наставникам Гертфорду и Сент-Джону, разрешившим ему повидаться с леди Елизаветой и маленькой леди Дженни Грей. Принцессы были, впрочем, в довольно унылом настроении по случаю тяжелого удара, постигшего королевский дом. В конце свидания Тома осчастливила своим визитом «старшая сестра», известная в истории под именем «кровавой Марии», но в глазах мальчика этот визит имел единственную цену – краткость. На несколько минут его оставили одного. Затем к нему вошел хорошенький, стройный мальчик лет двенадцати, одетый с ног до головы во все черное, в белых брыжах и манжетах с небольшим пунцовым траурным бантом на плече. Он нерешительно подошел к Тому с непокрытой, склоненной головой и преклонил колени. Том спокойно смотрел на него с минуту, потом сказал:

– Встань, мальчик. Кто ты такой? Что тебе надо?

Мальчик встал и стоял в непринужденной позе, но на лице его было заметно смущение.

– Государь, ты должен меня помнить, – сказал он. – Я – мальчик, которого секут.

– Как ты сказал? Мальчик, которого секут?

– Да, государь. Я Гумфри, Гумфри Марло.

Том подумал, что его наставникам следовало бы приставить к нему кого-нибудь на время своего отсутствия. Положение становилось щекотливым. Как тут быть? Притвориться, что он знает этого мальчика, и потом на каждом шагу попадаться в том, что отроду его не видывал? Нет, это совсем не годится, надо придумать что-нибудь другое. Вдруг у него мелькнула счастливая мысль. Неотложные дела будут часто отзывать теперь графа Гертфорда и лорда Сент-Джона, попавших членами в совет душеприказчиков; это будет повторяться беспрестанно; так не лучше ли выработать какой-нибудь план, чтобы быть в состоянии самому выпутываться из затруднений? Да, конечно, ничего другого не остается... Попытаться хоть с этим мальчиком, – что из этого выйдет? Том нахмурился с самым озабоченным видом и, подумав с минуту, сказал:

– Да, теперь я как будто припоминаю, но я болен и так забывчив...

– Мой бедный государь! – воскликнул с чувством мальчик, а про себя подумал: «Слухи-то, кажется, верны, – он совсем рехнулся, бедняжка! Однако что ж это я, разиня! Ведь мне приказано и виду не подавать, что я что-нибудь замечаю».

– Странно, как в эти последние дни все испарилось из моей памяти, – продолжал Том. – Но это не беда – сейчас пройдет. Иной раз мне стоит

вспомнить какой-нибудь пустяк, и я разом припоминаю все до мельчайших подробностей. «И не только то, что знал, но частенько и то, о чем прежде не имел никакого понятия», – добавил он мысленно. – Говори же, что тебе надо?

– Сущие пустяки, государь; но раз уж ты повелеваешь мне говорить, я не смею ослушаться. Два дня тому назад, если Ваше Величество припомните, за утренним уроком вы сделали три ошибки в греческом.

– Да, теперь помню; конечно, сделал. «И это не ложь; я бы, наверное, сделал не то что три ошибки, а в сорок раз больше, вздумай я взяться за греческий», – подумал Том. – Ну, сделал, что же дальше?

– Учитель страшно рассердился за такую небрежную, глупую работу, как он ее назвал, и обещал больно меня высечь, чтобы...

– Высечь тебя?! – забывшись, вскрикнул пораженный Том. – Как же он смеет сечь тебя за мои ошибки?

– Вы опять забываете, Ваше Величество. Он всегда меня сечет, когда вы провинитесь.

– Да, да, – я забыл. Ты готовишь со мной уроки, и когда я чего-нибудь не знаю, он думает, что ты плохо со мной занимаешься, и...

– Что вы, что вы, Ваше Величество? Да смею ли я, смиреннейший из ваших слуг, – смею ли я думать давать вам уроки?

– За что же тебя тогда наказывать? Что за чепуха? Ровно ничего не понимаю. Кто из нас спятил – ты или я? Говори же, объясни мне, в чем дело?

– Чего проще, Ваше Величество. Дело в том, что никто во всей Англии не смеет поднять руку на священную особу принца Валлийского; поэтому, когда провинится принц, отвечаю за него я; и я нахожу, что это справедливо: это моя обязанность, мой заработок.

Том опешил и с удивлением уставился на мальчика, который стоял перед ним все так же невозмутимо. «Какая нелепость, – рассуждал он про себя. – Ведь выдумают же такое дикое ремесло! Как это они еще не наймут кого-нибудь, чтобы совершать за меня туалет, – вот было бы счастье! Я бы охотно уступил эту обязанность, а меня пусть бы секли, и я благодарил бы Господа Бога за свою судьбу».

Однако Том это только подумал, а громко сказал:

– Ну и что же? Так-таки тебя, бедняжку, высекли?

– Нет, государь; наказание было назначено на сегодня, но теперь, по случаю траура, его, может быть, отменят, я точно не знаю; вот почему я осмелился прийти и напомнить вам, государь, что вы обещали...

– Заступиться за тебя? Не так ли?

– Ваше Величество сами изволили вспомнить!

– Как видишь, память ко мне возвращается. Успокойся – никто тебя пальцем не тронет, я позабочусь об этом.

– Благодарю вас, Ваше Величество... Как вы милостивы, государь! – воскликнул Гумфри, бросаясь опять на колени. – Может быть, вы примете это за дерзость, но...

Заметив смущение мастера Гумфри, Том ободрил его, сказав, что сегодня он «в милостивом настроении».

– Ну, так я выскажу все, что у меня на душе.

– Теперь, когда вы уже больше не принц Валлийский, когда вы стали королем и можете без помехи делать все, что вздумаете, вам нет никакой причины мучить себя скучными уроками; вы, конечно, забросите ваши книги и займетесь чем-нибудь поинтереснее. Тогда я пропал, а вместе со мной и мои сироты-сестры.

– Пропал? Но почему же? Объясни мне, пожалуйста.

– Государь, меня кормит моя спина. Если я потеряю мою должность, я умру с голоду. А раз вы бросите ваши уроки, я вам больше не нужен. Государь, не прогоняйте меня, не лишайте куска хлеба!

Том был тронут искренним отчаянием, прозвучавшим в этих словах.

– Успокойся, дружок, – сказал он с истинно царским великодушием. – Твоя обязанность навсегда останется за тобой и за твоим потомством. – И, слегка ударив Гумфри по плечу шпагой плашмя, он добавил: – Встань, Гумфри Марло, отныне твоя должность станет наследственной при дворе английского короля. Будь покоен – я опять примусь за свои книги и буду так плохо учиться, что мне придется по всей справедливости утроить твое жалованье, – столько у тебя прибавится дела.

– О, благодарю тебя, всемилостивейший государь! – воскликнул Гумфри в порыве горячей признательности. – Твое царственное великодушие превосходит самые смелые мои мечты. Теперь счастье мое упрочено навеки, а с ним и благополучие всего рода Марло.

У Тома хватило смекалки сообразить, как полезен ему может быть этот мальчуган. Он заставил Гумфри разговориться, а тому этого только и было нужно, Мальчик был в восторге, воображая, что содействует исцелению короля: стоило ему обстоятельно рассказать Тому какое-нибудь из их приключений, имевших место в королевской классной комнате или в других покоях дворца, как Том сейчас же «припоминал» все до мельчайших подробностей. По прошествии часа новый король успел собрать такой запас ценных сведений относительно разных лиц и происшествий при дворе, что твердо решил на будущее время ежедневно черпать из этого

богатого источника и тут же отдал приказ допускать Гумфри в королевские покои во всякое время, когда Его Величество, король Англии, не занят делами или беседою с другими лицами. Только что вышел Гумфри, явился лорд Гертфорд, а с ним и новые заботы.

Лорд Гертфорд сообщил Тому, что лорды члены совета, опасаясь преувеличенных слухов о болезни Его Величества, признали полезным и благоразумным возможно частое его появление в многочисленных собраниях и с этой целью решили два-три раза в неделю назначать при дворе парадные обеды, на которых он должен присутствовать. Цветущий вид и бодрая осанка государя, в соединении со спокойным достоинством и величавой грацией его манер, вернее, чем всякие другие меры, успокоят волнение в том случае, если бы подобные слухи успели уже распространиться.

И граф стал в самой деликатной форме поучать Тома, как ему следует держать себя в этих случаях. Он делал вид, что только «напоминает» о том, что и без него отлично известно Его Величеству. К великой радости благородного графа, оказалось, что Том очень мало нуждается в его указаниях: он уже успел почерпнуть от Гумфри все необходимые сведения, как только узнал от него об этих предполагаемых парадных обедах, о которых при дворе открыто говорила стоустая молва. Но, разумеется, он умолчал перед графом о своем разговоре с Гумфри.

Убедившись, что память возвращается к Его Величеству, граф решил незаметно испробовать еще несколько испытаний, чтобы вполне удостовериться, насколько продвинулось его исцеление. Результат получился вполне благоприятный, особенно там, где сказывались наставления Гумфри. Это так обрадовало и ободрило графа, что, обратившись к Тому, он произнес с надеждой в голосе:

– Теперь я убежден, что если Ваше Величество постараетесь, вы разрешите нам загадку пропавшей печати. Вчера она была нам необходима; сегодня, правда, надобность в ней миновала, так как со смертью покойного государя она потеряла всякую силу. Но все-таки постарайтесь припомнить, государь!

Том был в затруднении: он не имел никакого понятия о том, что за штука – государственная печать. После минутного колебания он с самым невинным видом взглянул на графа и спросил:

– А какова она с виду, милорд?

Граф слегка вздрогнул: «Увы, он опять забывается! – пробормотал он. – Напрасно я его утомлял, это была большая неосторожность», – и он резко переменил разговор, чтобы изгладить из памяти Тома само

воспоминание о злополучной печати. Это не стоило ему большого труда.

## Глава XV

### Том-король

На следующий день Тому представлялись иностранные послы со своими пышными свитами, и он принимал их, сидя на королевском троне. Сначала он был в восторге от торжественного зрелища, но аудиенция была длинная и скучная, речи – тоже, и понемногу его восторг сменился невыносимой скукой. Время от времени он должен был повторять слова, которые ему нашептывал лорд Гертфорд. Мальчик изо всех сил старался справиться со своим трудным положением, но дело было ему внове, и едва ли он успешно выполнил свою роль. Смотрел-то он королем, но не чувствовал себя королем, и от души порадовался, когда церемония закончилась.

Большая часть дня «пропала» – как мысленно выразился Том – в занятиях, связанных с его королевскими обязанностями. Даже два часа, свободные от всякого дела и предназначенные для игр и забав, показались ему положительно скучными, – такими церемониями они были обставлены. За весь день выдался только один хороший часок, проведенный им в обществе Гумфри, с которым было весело и от которого ему удалось добыть много полезных сведений.

Третий день царствования Тома прошел точно так же, как и первые два, с той только разницей, что теперь он чувствовал себя во многих отношениях гораздо свободнее, чем вначале. Он понемногу привык к своему положению и освоился с почестями, и хотя цепи неволи по-прежнему тяготили его, но временами он стал о них забывать; с каждым часом он чувствовал все меньше и меньше стеснения от постоянного присутствия и угодливости царедворцев.

Одно еще смущало и заботило его, – это следующий, по счету четвертый день, в который должны были начаться парадные, публичные обеды. В программу дня входили еще и другие, гораздо более важные вещи: Тому предстояло председательствовать в совете и выказать свои политические взгляды и планы относительно иностранных держав чуть ли не всего земного шара; в этот же день граф Гертфорд должен был быть утвержден в высоком сане лорда-протектора; на этот же страшный для Тома день было назначено еще множество других важных дел. Но все это казалось ему пустяками в сравнении с необходимостью обедать под

перекрестным огнем стольких устремленных на него любопытствующих глаз, под стоголосный шепот пересудов, которые не пощадят ни одного его жеста, ни одного движения, ни единого промаха, если, по несчастью, ему случится оплошать. Но время шло своим чередом, и страшный четвертый день наступил. Бедный Том встретил его расстроенный, с отуманенной головой и, как ни старался, не мог стряхнуть с себя этого настроения. Обычные утренние занятия угнетали его, руки опускались, и он с новой силой почувствовал гнет своей тяжелой неволи. Около полудня он был уже в большой аудиенц-зале и беседовал с графом Гертфордом в ожидании начала приема именитых гостей.

Во время разговора, случайно подойдя к окну, Том заинтересовался оживленным движением на большой дороге за дворцовой оградой. В нем заговорило не простое любопытство: его всем существом потянуло в эту светливую, шумную жизнь. Вдруг внимание его было привлечено беспорядочной толпой мужчин, женщин и детей, с криками приближавшихся по дороге.

– Как бы я хотел знать, что там случилось! – воскликнул он с любопытством, свойственным всем мальчикам при подобных обстоятельствах.

– Вы король. Прикажете узнать? – торжественно ответил ему граф Гертфорд с низким поклоном.

– Ах, пожалуйста, если можно! – воскликнул в волнении Том и подумал про себя с чувством особенного удовольствия: «Однако не всегда скучно быть королем, – в этом есть свои преимущества и удобства».

Граф кликнул пажа и послал через него начальнику караула приказание – задержать толпу и узнать о причине волнения.

Через несколько минут из дворцовых ворот выступил мерным шагом отряд королевской гвардии, закованный в блестящую броню, и, выстроившись поперек дороги, остановил толпу. Посланный вернулся и донес, что чернь провожает на место казни мужчину, женщину и девочку, осужденных за преступления против общественного спокойствия и безопасности.

Так этих несчастных ждет смерть – страшная, лютая смерть! Сердце Тома замерло от ужаса. Чувство сострадания заговорило в нем с такою силою, что заглушило все другие соображения; он не подумал о том, что эти люди нарушили закон, не подумал о страданиях и ущербе, причиненных жертвам их преступлений; он ни о чем не мог думать, кроме страшного эшафота и виселицы – ужасных призраков, тяготевших над головами несчастных. На минуту мальчик забыл даже о том, что он не



король, а только тень короля, и, прежде чем успел опомниться, отдал приказание:

– Привести их сюда!

В следующий же момент он весь вспыхнул, извинение готово было сорваться с его губ, но, видя, что его слова нисколько не удивили ни графа, ни дежурного паж, он спохватился и прикусил язык. Паж, отвесив низкий поклон, попятился к двери, чтобы пойти передать приказание. Сердце Тома забило гордостью от сознания выгод и преимуществ его положения. «Право, я чувствую себя совершенно так, как в то время, когда зачитывался, бывало, книгами старика священника и отдавал направо и налево приказания: сделай то! сделай это! – и меня все слушались», – подумал он.

В эту минуту двери распахнулись; громкие титулы стали выкликаться один за другим; следом входили их обладатели, и скоро зала наполовину наполнилась знатью. Том никого не замечал – так его заботило и поглощало другое, гораздо более интересное для него дело.

Он рассеянно сел на свое кресло и в нетерпеливом ожидании не спускал глаз с дверей. Заметив, что король чем-то озабочен, гости, не решаясь его беспокоить, разговорились между собой о том о сем, о государственных делах и о придворных новостях.

Но вот послышались мерные шаги солдат, и в дверях показались преступники в сопровождении судебного шерифа и конвоя королевской гвардии. Шериф преклонил колено перед Томом и отошел в сторону; преступники пали ниц; конвой выстроился позади королевского кресла. Том с любопытством рассматривал осужденных. Что-то знакомое в одежде и в наружности мужчины вызвало в нем смутное воспоминание: «Кажется, я его где-то видел... Но где и когда, – решительно не припомню». Как раз в эту минуту преступник поднял глаза и, подавленный созерцанием величества, сейчас же опять их опустил; но одного этого быстрого взгляда было довольно для Тома. «Теперь знаю, – подумал он, – это тот самый человек, который вытащил из Темзы и спас Джильса Витта. Это случилось на Новый год; еще тогда был такой бурный, холодный день... Смелый, благородный поступок... Какая жалость, что он попал в такую беду!.. Отлично помню тот день, помню даже и час – ровно одиннадцать часов, – потому что бабушка так меня тогда оттузила, что мне этого никогда не забыть».

Том приказал, чтобы женщину с девочкой на время увели, и, обратившись к шерифу, спросил:

– Сэр, в чем провинился этот человек?

– Он – отравитель, Ваше Величество, – преклонив колено, ответил шериф.

Сострадание Тома к преступнику и восхищение перед ним как перед отважным спасителем утопающего значительно поубавилось.

– Что ж, его уличили? – спросил он.

– Вполне, государь.

– Уведите его, – сказал тогда Том со вздохом, – он заслужил наказание. Какая жалость, – такой храбрец... то есть я хотел сказать: такой у него вид...

Тут преступник с неожиданной энергией простер к королю свои сжатые руки и взмолился прерывающимся от волнения голосом:

– О мой государь и повелитель! Ты пожалел отравленного, – сжался и надо мной! Я неповинен в его смерти, против меня нет улик, нет никаких улик, но дело не в том: приговор произнесен, и я должен умереть, я это знаю... Но молю тебя, государь, сжался над моей ужасной участью... Сжался надо мной, окажи мне милость, – вели меня повесить!

Том остолбенел. Такой развязки он никак не ожидал.

– Клянусь честью, странная «милость»! Да разве ж не в этом состоит твой приговор?

– О нет, государь! Меня присудили сварить живьем!

Том содрогнулся от этих ужасных слов.

– Успокойся, успокойся, бедняга! – сказал он с жаром, когда справился с собой настолько, что мог заговорить. – Если бы даже ты отравил сотню людей, ты и тогда не заслуживал бы такой бесчеловечной смерти.

Преступник пал ниц и разразился бессвязными изъяслениями благодарности.

– Если когда-нибудь, сохрани Бог, тебе суждено испытать горе, пусть зачтется тебе твое милосердие, государь! – сказал он под конец.

– Как мог состояться такой бесчеловечный приговор, милорд? – спросил Том, обращаясь к Гертфорду.

– Таков закон против отравителей, государь. В Германии фальшивомонетчиков казнят смертью в кипящем масле, и притом не разом, а постепенно опуская сперва ноги, потом туловище и...

– Ради Бога, довольно, милорд! Я не могу этого слышать! – воскликнул Том в ужасе, закрывая руками лицо. – Умоляю вас, добрый милорд, прикажите отменить этот закон... Нельзя подвергать людей таким пыткам!

Лицо графа просияло радостью, ибо он был человек добрый и благородный – большая редкость среди людей его класса в те жестокие

времена.

– Вы уже отменили его вашими благородными словами, государь, – и слова эти будут занесены на страницы истории к чести всего вашего славного рода, – отвечал граф.

Шериф собирался уже увести преступника, но Том остановил его знаком.

– Я бы хотел хорошенько вникнуть в это дело, сэр, – сказал он. – Этот человек говорит, что против него нет улик. Расскажите мне подробно все дело.

– Ваше Величество, из следствия выяснилось, что этот человек заходил в один дом в деревне Ислингтон, где в то время лежал больной. Все свидетели это подтверждают и расходятся только в одном: кто говорит, что это было ровно в десять часов, кто говорит – позже, кто – раньше. На ту пору больной был один и спал. Человек этот пробыл в доме всего несколько минут, потом вышел и пошел своей дорогой. Через час больной умер в страшных мучениях.

– А видели, как он давал яд? Нашли яд?

– Никто не видел, и яда нигде не нашли, государь.

– Так как же узнали, что больной отравлен?

– Доктора удостоверили, что такая смерть бывает только от яда, Ваше Величество.

«Веское доказательство», что и говорить, – однако совершенно достаточное в тот простодушный век. Том был подавлен его убедительностью.

– Конечно, доктора знают свое дело; должно быть, они правы. Все улики против несчастного.

– И это еще не все, государь; есть вещи и поважнее. Многие свидетели показали, что деревенская колдунья, которая вдруг исчезла неизвестно куда, незадолго перед тем предсказала, – свидетели слышали это собственными ушами, – что больной умрет от отравы и что отравит его неизвестный черноволосый прохожий в грубой одежде темного цвета. Наружность преступника совершенно отвечает этому описанию. Не угодно ли будет Вашему Величеству обратить особенное внимание на важность этого факта, ввиду того, что смерть человека была заранее предсказана.

В тот темный, суеверный век это было неоспоримым аргументом. Том понял, что все пропало: вина была доказана. Однако он решил испытать последнее средство:

– Если ты можешь сказать что-нибудь в свою пользу, говори, – сказал он преступнику.

– Ничего, что могло бы меня оправдать, государь. Видит Бог, я невиновен, но я не могу этого доказать. Я здесь чужой, меня никто не знает, иначе я мог бы доказать, что в тот день меня даже не было в Ислингтоне, мог бы сослаться на то, что в тот час, о котором они говорят, я был за три мили, в Ваппинг-Ольд-Стэрсе. Скажу больше, я мог бы удостоверить, что именно в тот час, когда, по их словам, я губил человеческую жизнь, – я спасал жизнь человеку, спасал утопавшего ребенка...

– Довольно! Шериф, в какой день было совершено преступление?

– В десять часов утра в первый день нового года, мой всемилостивейший...

– Освободить преступника, – так хочет король.

Яркая краска стыда за свою недостойную королевского сана вспышку залила все лицо мальчика, и он, как умел, постарался ее загладить, прибавив:

– Меня возмущает, что человека могут осудить на основании таких вздорных, ни на чем не основанных улик.

Шепот восторга пронесся по зале. Восторг был вызван не помилованием; едва ли во всем многолюдном собрании нашелся бы хоть один человек, который решился бы одобрить такую вещь, как помилование отравителя. Нет. Восторг вызвали сообразительность и энергия Тома. Послышались негромкие замечания:

– Ну какой же он помешанный, когда он так здраво рассуждает!

– Как умно он ставил вопросы! И как это на него похоже – такое властное, скорое решение!

– Слава Богу, он совсем оправился! Настоящий король! И характером весь в отца!

Восторженные одобрения сыпались со всех сторон и, само собою разумеется, тотчас достигли ушей Тома. Это привело его в самое приятное расположение духа и наполнило гордостью его сердце.

Однако юношеское любопытство скоро взяло верх над этими приятными мыслями и ощущениями: мальчику до смерти хотелось знать, в каком тяжком грехе провинилась несчастная женщина со своей крошкой-дочерью, и по его приказанию испуганные, рыдающие преступницы предстали перед ним.

– В чем они обвиняются? – спросил Том шерифа.

– Ваше Величество, они обвиняются в черном злодеянии, несомненно доказанном, и, согласно закону, приговорены к повешению. Они продали душу дьяволу – вот в чем они обвиняются.

Том содрогнулся. Ему с детства внушали ужас и отвращение к людям,

совершающим такие гнусности. Но, несмотря ни на что, он не мог победить своего любопытства.

– Когда же они это сделали... и где? – спросил он после минутного молчания.

– В одну из ночей, в декабре месяце, государь, в разрушенной церкви. Том снова вздрогнул.

– Кто был свидетелем?

– Никто, государь. Они были вдвоем, да Он с ними третий.

– Что ж, признают они свою вину?

– Нет, отрицают, Ваше Величество.

– В таком случае, как же это узнали?

– Свидетели видели, Ваше Величество, как они по ночам входили в церковь; это возбудило подозрение, которое вскоре оправдалось и было доказано: открыто призвав на помощь нечистую силу, они вызвали страшную бурю, разорившую всю округу. Что буря была – этому есть до сорока свидетелей, и могло бы набраться до тысячи, она всем памятна, потому что все от нее пострадали.

– Да, конечно, это серьезное обвинение!

И мальчик глубоко задумался над черным злодеянием женщины.

– А пострадала от этой бури сама обвиняемая? – спросил он наконец шерифа.

Старческие головы одобрительно закивали, преклоняясь перед мудростью этого вопроса. Но шериф не уловил его особенного смысла и по простоте душевной ответил:

– Еще как, государь! Чуть ли не больше всех, – и поделом ей! Ее лачугу снесло до основания, и она с ребенком осталась без крова.

– Дорого же она заплатила за власть делать зло себе самой! Истрать она на это только фартинг, она и то была бы в накладе, а ведь она отдала в уплату не только свою душу, но и душу своего родного ребенка. Для этого надо быть безумной. А если это так, значит, она не ведает, что творит, и, следовательно, не виновата.

Старческие головы опять закивали, и кто-то заметил:

– Если верны слухи о помешательстве короля, то приходится признать, что его болезнь из тех, которые могут наставить на путь истины многих здоровых людей; дал бы только Господь, чтобы нам передалась эта болезнь!

– Сколько лет девочке? – спросил Том.

– Девять лет, государь.

– Может ли ребенок по английским законам заключать сделки и

продавать себя, милорд? – обратился Том с вопросом к одному из ученых правоведов.

– Закон воспрещает детям входить в какие бы то ни было сделки, Ваше Величество, на том простом основании, что ребенок не может быть вполне умственно развит и, следовательно, не может на равных условиях бороться с человеком взрослым и с его злою волею. Дьявол может купить детскую душу, если захочет, и ребенок может продать ему свою душу, но английскому гражданину положительно воспрещается законом входить в какие бы то ни было сделки с малолетними и всякая подобная сделка признается недействительной.

– Как это глупо и как не по-христиански! Английские законы лишают привилегий своих граждан и предоставляют пользоваться ими дьяволу! – воскликнул Том в порыве честного негодования.

Этот неожиданный и совершенно новый взгляд на вещи вызвал немало улыбок, и многие нарочно постарались запомнить слова короля, чтобы при случае пересказать их, где нужно, в доказательство его оригинальности и быстрого хода его выздоровления.

Между тем осужденная перестала рыдать; в страшном волнении и с возрастающей надеждой она прислушивалась к каждому слову Тома. Том заметил это и почувствовал симпатию к одинокой, беспомощной женщине.

– Чем же они вызвали бурю? – неожиданно спросил он.

– Тем, что разулись, государь.

Том остолбенел; он сгорал от любопытства.

– Вот удивительно! Неужели довольно разуться, чтобы вызвать такие страшные последствия? – осведомился он с живостью.

– Совершенно довольно, государь, – конечно, если колдунья этого хочет и произнесет необходимое заклинание, про себя или вслух, – все равно.

Том с жаром обратился к женщине:

– Покажи свою власть – я хочу видеть бурю!

Все в страхе побледнели; у каждого явилось желание поскорей убраться подальше-поздорову.

Том ничего не видел: он с нетерпением ждал, скоро ли разразится буря. Но, заметив испуг и смущение женщины, он добавил с волнением:

– Не бойся – тебе за это ничего не будет. Никто не посмеет тебя пальцем тронуть: я помилую тебя, дам тебе свободу, только покажи свою власть.

– О милосердный государь, у меня нет этой власти... Меня обвинили понапрасну!...

– Ты это говоришь, потому что боишься. Покажи свою власть – тебе не сделают никакого вреда. Вызови бурю – хоть самую маленькую, – я и не прошу чего-нибудь страшного... Покажи только, как ты ее вызываешь, и жизнь твоя спасена... Я помилую тебя и твоего ребенка; ты будешь свободна, и никто в целой Англии не посмеет тебя обидеть.

Бедная женщина упала на колени, рыдая, и клялась, что у нее нет власти сотворить это чудо, иначе она, конечно, исполнила бы волю короля, спасла бы если не себя, то хоть своего ребенка, раз уж король так милостив, что обещает даровать им за это жизнь.

Том продолжал настаивать, но женщина твердо стояла на своем.

– Я думаю, что она говорит правду, – сказал наконец Том. – По крайней мере, будь на ее месте моя мать и знайся она с нечистой силой, она ни на минуту не задумалась бы вызвать бурю и разорить всю страну, если бы знала, что этим она спасет мою жизнь. Я думаю, что и каждая мать поступила бы точно так же... Ступай, голубушка, вы с дочерью свободны. Я думаю, что вы обе невинны. Но послушай: теперь, когда тебе нечего бояться, когда ты помилована и свободна – разуйся! Вызови бурю, и я тебя озолочу!

Помилованная женщина, в приливе благодарности, начала проворно разуваться. Том жадными глазами следил за каждым ее движением, не без тревоги ожидая, что-то будет. Страх обуял знатных гостей; в зале поднялся ропот. Женщина разулась сама, разула и свою девочку, изо всех сил стараясь за великодушие короля одарить его землетрясением, – но все ее старания не привели ни к чему.

– Довольно, не трудись понапрасну, – сказал ей Том, вздохнув. – Видно, твоя власть пропала. Ступай с миром, и если когда-нибудь она к тебе вернется, не забудь меня, сделай мне бурю.

## Глава XVI

### Парадный обед

Час обеда приближался; но – странная вещь – Том уже не испытывал ни страха, ни смущения при мысли о нем. Утренний успех удивительно укрепил в нем веру в собственные силы; бедный маленький нищий за эти четыре дня так свыкся со своим положением, как человеку взрослому не удалось бы свыкнуться за целый месяц, – лучшее доказательство того, как быстро умеют дети приспосабливаться ко всяким обстоятельствам.

Покамест Том готовится к предстоящему торжеству, поспешим в обеденный зал и заглянем, что там делается. Это огромная комната с вызолоченными колоннами, с роскошной живописью по стенам и на потолке. У дверей, в богатой одежде, неподвижно, как статуи, стоят два взрослых часовых с алебардами. Наверху, на хорах, которые идут вокруг всей залы, помещается хор музыкантов и толпятся зрители – нарядные горожане обоего пола. Посреди залы, на возвышении, приготовлен стол для короля.

Вот как об этом говорит летописец:

«В залу вошли два джентльмена: один – впереди, с жезлом, другой – позади, со скатертью на вытянутых руках. С величайшим благоговением, трижды преклонив колени, они накрыли стол и торжественно удалились. Вслед за ними появились двое других: один – опять-таки с жезлом, другой – с солонкой и хлебом на блюде; преклонив колени точно так же, как и первые, они поставили на стол хлеб и соль и так же торжественно удалились. За ними следовали двое знатных, богато одетых царедворцев; один нес столовый нож. После троекратного торжественного коленопреклонения они взяли со стола хлеб и соль и потеряли ими стол с таким благоговением, как будто здесь присутствовал сам король».

Предварительные церемонии этим закончились. Но вот по длинным дворцовым коридорам раздались звуки труб, и в залу издали донеслись крики: «Дорогу, дорогу королю! Дорогу Его Величеству могущественному королю Англии!» Возгласы герольда и звуки труб все росли и росли по мере приближения, музыка грянула с хор воинственный марш. «Дорогу, дорогу королю!», раздалось где-то совсем близко; дверь распахнулась, и в ней, выступая торжественным, размеренным шагом, показалась голова пышной процессии.

Но предоставим слово летописцу:



«Впереди шли джентльмены, бароны, графы и рыцари ордена Подвязки в богатой одежде и с непокрытыми головами; за ними – лорд-канцлер между двух вельмож, из которых один нес скипетр, другой – государственный меч острием кверху, в ножнах, расшитых золотыми лилиями по алому полю. Дальше шел сам король, которого встретили звуками труб и барабанным боем. На хорах все поднялись со своих мест с громким криком: «Боже, храни короля!» За королем следовали его приближенные, а по правую и по левую его руку шло пятьдесят почетных телохранителей с золочеными секирами».

Это была красивая, блестящая картина. Сердце Тома билось, как птица; глаза сияли восторгом. Он держался с истинно королевским достоинством именно потому, что меньше всего заботился в эту минуту о своей осанке, – так его поглотило невиданное, торжественное зрелище. Да и наконец, разве может человек в красивом, изящном, ловко сшитом наряде быть неловким и неуклюжим, особенно если он сколько-нибудь привык носить этот наряд и не думает о своей внешности?

Том помнил полученные им инструкции и отвечал на приветствия легким наклоном своей, украшенной перьями, головы и милостивыми словами: «Благодарю, мой добрый народ!»

Он сел за стол, не снимая шляпы, и сделал это без малейшего стеснения, потому что садиться за стол в шляпе было в то время таким же обыкновением у королей, как и у людей подобных Канти: и те, и другие с незапамятных времен одинаково свыклись с этим обычаем. Пышная процессия разместилась живописными группами по залу.

Под звуки веселой музыки в залу вошел отряд королевской гвардии – «все высокие и статные, как на подбор, молодцы»; но приведем лучше подлинные слова летописца:

«Вошел отряд гвардейцев с непокрытыми головами, в алых камзолах с вышитыми золотом розами на спине. Они прислуживали королю, внося и вынося блюда с бесчисленными переменами. Из их рук блюда принимал нарочно приставленный для того джентльмен и ставил их на стол в том порядке, как они вносились, после чего другой джентльмен, на обязанности которого лежало пробовать королевское кушанье, давал понемногу от каждого блюда тому, кто его принес. Это делалось из опасения отравы...»

Том сытно пообедал, несмотря на то, что сотни пристально устремленных на него любопытных глаз с таким видом следили за каждым отправляемым им в рот куском, точно это было взрывчатое вещество, от которого он мог разлететься вдребезги. Мальчик положил себе – не спешить, не делать самому ничего и ждать, чтобы специально

приставленные для этого лица, преклонив колени, исполнили за него все, что потребуется. И он с торжеством вышел из этого испытания; самый придирчивый взгляд не мог бы подметить ни одного промаха!

Когда обед кончился и Том, окруженный блестящей свитой, вышел из обеденной залы под оглушительный гром труб и барабанов и гул прощальных приветствий, он решил про себя, что публичные обеды не такая уж скучная обуза и что он готов был бы обедать хоть по нескольку раз в день, если бы мог избавиться этим способом от других, более тяжелых и серьезных, обязанностей, связанных с королевским саном.

## Глава XVII

### Король Фу-Фу Первый

Майльс Гендон мчался по мосту по направлению к Соутворку, то и дело озираясь по сторонам в надежде увидеть тех, кого он искал. Но ему скоро пришлось разочароваться. Путем расспросов ему удалось еще кое-как проследить беглецов до Соутворка; но здесь все следы исчезали, и он стал положительно в тупик, недоумевая, куда ему броситься. Тем не менее он продолжал свои поиски до позднего вечера. Ночь застала его голодным и измученным, но ни на волос не продвинувшимся к цели. Он решил поужинать и заночевать в Табардском трактире, чтобы завтра чуть свет приняться сызнова за прерванные поиски и обшарить весь город. Лежа в постели, он задумался о случившемся. «Наверное, мальчик при первой возможности постарается убежать от разбойника, который выдает себя за его отца, – рассуждал он. – Но что-то он предпримет дальше? Вернется в Лондон и разыщет свое прежнее жилье? – Нет, этого он ни за что не сделает, – побоится, что его опять поймают». Что же ему в таком случае остается? Кроме него, Майльса Гендона, у мальчика нет ни друзей, ни родных, и, конечно, он постарается разыскать своего единственного покровителя, но так, чтобы самому не подвергаться опасности и не возвращаться в Лондон. Он знает, что его новый друг собирался домой, и наверное пустится в Гендон-Голл, рассчитывая там с ним встретиться. Теперь Гендон знал, что ему делать. «Вместо того чтобы попусту терять время в Соутворке, завтра же иду через Кент прямо к Монкс-Гольму и по дороге буду обыскивать все леса и расспрашивать всех прохожих», – решил он, успокаиваясь.

Вернемся теперь к пропавшему королю. Оборванец, которого видел трактирный слуга на мосту и который, по его словам, «хотел подойти» к королю и его провожатому, – не подошел к ним, но, крадучись, пошел следом за ними. Левая рука была у него подвязана; на левом глазу красовался большой зеленый пластырь; он прихрамывал и еле брел, опираясь на толстую дубовую палку. Парень повел короля по Соутворку и наконец, разными закоулками, вывел его в поле, на большую дорогу. Король страшно рассердился и объявил, что не ступит дальше ни шагу, потому что не ему подобает отыскивать Гендона, а Гендону – его. Он не намерен спокойно сносить подобные дерзости и шагу не сделает дальше.

– Как знаешь, – сказал на; это парень. – Стой себе здесь хоть до завтра. Только твой друг за тобой не придет, потому что он лежит раненый вон в том лесу.

– Раненый! – воскликнул король. Тон его разом изменился. – Он ранен? Кто же осмелился поднять на него руку? Ну да об этом после. Скорей, скорей, веди меня к нему! Скорей же! Что ты ползешь, как черепаха! Ранен! Дорого же поплатится тот, кто его ранил, будь он хоть герцогский сын!

До леса было не близко, но мальчик мигом прошел это расстояние. Между тем парень стал очень внимательно смотреть себе под ноги и скоро увидел на дороге, у самой опушки леса, сучок с привязанной к нему тряпкой. Он повел мальчика по тропинке, на которой кое-где попадались такие же точно сучки с тряпками – очевидно, какие-то условные знаки. Наконец, после довольно продолжительного странствия по лесу, путники вышли на открытую полянку, на которой стояла полуразрушенная ферма и пошатнувшийся набок сарай.

Нигде не было видно признаков жизни; кругом царила мертвая тишина. Парень вошел в сарай, король – следом за ним. Но и здесь никого не было: сарай был пуст. Король бросил на своего спутника удивленный, подозрительный взгляд и спросил:

– Где же он?

Ответом был насмешливый хохот. Мальчик схватил валявшееся на земле полено и, вне себя, бросился было на парня, как вдруг услышал у себя за спиной новый взрыв хохота. Смеялся тот самый бродяга, который шел за ними по пятам от самого моста.

– Ты кто? – гневно крикнул король. – Тебе что здесь надо?

– Не дури – вот что, брат, – отвечал оборванец, – так-то будет лучше. Не так уж ловко я переряжен, чтобы ты не мог признать родного отца.

– Ты мне не отец! Я тебя не знаю. Я – король, и если ты знаешь, где мой друг Майльс, отведи меня к нему, или ты жестоко заплатишься за все твои шутки.

– Послушай, сынок, – сказал Джон Канти строгим, внушительным голосом, – ты рехнулся, и у меня нет охоты теперь с тобой связываться, но если ты выведешь меня из терпения, я буду вынужден разделаться с тобой. Здесь от твоей болтовни не может быть большой беды, потому что нет лишних ушей и некому подслушивать твои глупости; но придержи свой язык, когда мы поселимся на новом месте, не то ты всех нас упечешь. Я убил человека и не могу вернуться на старое пепелище, да и ты тоже, потому что ты мне нужен. По некоторым соображениям я переменил свое

имя и теперь зовусь Гоббсом – Джоном Гоббсом, а тебя зовут Джеком, – смотри, хорошенько запомни. Ну, а теперь говори: где твоя мать и сестры? Они не пришли в назначенное место. Ты знаешь, где они?

– Сделай милость, оставь меня в покое, – мрачно ответил король. – Моя мать давно умерла, а сестры живут во дворце.

Парень громко расхохотался, и разгневанный король уже готов был броситься на него, но Канти – или Гоббс, как он теперь назывался, – вовремя его удержал и, обращаясь к парню, сказал:

– Полно, Гуго, оставь его; ты видишь, у него и так туман в голове, а ты еще его дразнишь. Не дури, Джек, успокойся; садись, я тебе сейчас дам поесть.

Гоббс с Гуго стали о чем-то шушукаться, а король отошел, насколько мог, подальше от этой неприятной компании. Он забился в дальний угол сарая, где на земляном полу была густо набросана солома. Здесь он прилег и, зарывшись в солому, стал думать. Много было забот и огорчений у бедного мальчика, но все они стушевались перед тяжелым горем – потерей отца. Не было, кажется, человека на свете, которого имя Генриха VIII не приводило бы в трепет, ибо для всех оно было связано с представлением о жестоком тиране, повсюду сеющем горе и смерть, о злодее, самое дыхание которого губительно; и только в душе одного этого мальчика страшное имя вызывало нежные, дорогие воспоминания о неизменной кротости, ласках и любви. Горькие слезы, которые он долго проливал в тишине, забившись в свою солому, лучше всего доказывали, как глубоко было его горе и как тяжела утрата. Было уже далеко за полдень, когда бедный ребенок, утомленный слезами, стал забываться и наконец крепко уснул.

Прошло немало времени – мальчик не мог решить, сколько именно. Он проснулся и, все еще лежа с закрытыми глазами в полузабытьи, старался сообразить, где он и что с ним случилось. По крыше барабанил ровный, частый дождик. Мальчик чувствовал себя хорошо и уютно. Но спустя минуту его безмятежное настроение было разом нарушено: где-то совсем близко раздались неистовые крики и взрывы громкого хохота. Подняв голову и вытянув шею, он стал всматриваться. Картина, которую он увидел, заставила его остолбенеть от ужаса. В противоположном углу сарая, на земляном полу, пылал яркий костер, а кругом, озаренные его красноватым отблеском, теснились с кривляньями и отвратительными ужимками какие-то гнусные оборванцы – бродяги и разбойники обоего пола. Тут были и пожилые, здоровенные, загорелые, косматые молодцы в лохмотьях, и статные юноши самого зверского вида, такие же грязные и оборванные, и всевозможные нищие-калеки с перевязанными, залепленными пластырем

глазами, и безногие на деревяшках, и хромые на костылях, и больные, покрытые струпьями и ранами, выглядывавшими из их лохмотьев. Были тут и подозрительного вида коробейник, и точильщик, и медник, и цирюльник с необходимыми атрибутами своего ремесла; были и пожилые женщины, и совсем молоденькие девушки-подростки, и страшные, седые, старые ведьмы – и все это было донельзя грязное, в рваном тряпье. Все орало, хохотало, ругались и выкрикивали безобразные пошлости. Картину дополняли два болезненных, бледных, золотушных младенца и две-три худые, паршивые собаки с обрывками веревок на шее – они служили проводниками слепцам.

Настала ночь. Компания поужинала, и началась дикая оргия. Чарка заходила по рукам, слышались крики:

– Песню! Песню! Эй, Бат! Эй, Дик-одноногий! Песенку!

Один из слепцов вышел вперед, сбросил долой пластырь, которыми были залеплены его здоровые, зрячие глаза, и картонный ярлык с трогательным описанием истории его слепоты. Дик-одноногий проворно вскочил с места и, швырнув в сторону свою деревяшку, встал на здоровые, сильные ноги рядом со своим проходимцем-товарищем. Хриплыми голосами они затянули вдвоем непристойную песню, сложенную на их воровском языке. Дружный хор пьяных голосов громко подхватывал припев. Когда песню допели, пьяный восторг слушателей не знал пределов. Потребовали повторения; затянули все хором и пропели всю песню сначала, да так, что стены тряслись. Потом у них началась беседа. Говорили на обыкновенном разговорном языке, не прибегая к воровскому наречию, которое пускается в ход только тогда, когда есть лишние уши. Из разговоров вскоре выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком и давно уже водится с этой компанией. Он подробно рассказал свое последнее приключение, и когда он объявил, что «невзначай» убил человека, со всех сторон слышались возгласы одобрения; когда же оказалось, что убитый был священник, общему восторгу не было границ и все пожелало выпить за здоровье «молодца Гоббса». Старые приятели дружески его приветствовали, новые знакомые добивались чести пожать ему руку. Слышались расспросы: «куда это он запропастился» и где «пропадал», что его так долго не было видно.

– В Лондоне, братцы, – отвечал Гоббс. – В Лондоне-то, доложу вам, и лучше и безопаснее с нынешними законами, будь они прокляты. Если б не этот случай, что бы мне за неволя таскаться? Я ни за что бы не ушел оттуда, – право! Так было и порешил оставаться, да вот ведь какая вышла оказия!

Затем он осведомился, много ли теперь народу числится в шайке. Начальник шайки, «атаман», отвечал:

– Всего-навсего двадцать пять молодцов, не считая девок, баб и другого балласта. Большая часть здесь налицо, остальные ушли вперед, к востоку, на зимние разведки. Скоро и мы за ними.

– А где же Вен? Я что-то его не заметил.

– Надо полагать, давно в преисподней лижет горячие сковороды, бедняга. Еще прошлым летом убит в драке.

– Жалко! Молодец был на все руки!

– Да, не скоро другого такого сыщешь! Его черноглазая Бесс осталась с нами; она на разведках с передовыми; а славная, ловкая, трезвая, можно сказать, баба: чаще четырех раз в неделю никогда не бывает пьяна.

– Что и говорить, баба-хват, – я хорошо ее помню. Совсем не в мать; та была как есть пропойца и презлющая ведьма; ну зато уж и умна, как бес.

– Из-за этого-то мы ее и лишились. Она так ловко гадала и так верно предсказывала всем судьбу, что ее осудили за колдовство и сожгли живьем на медленном огне. Ну и характер же у нее был! Я просто чуть не заплакал, на нее глядя, – так твердо выдержала она свои мучения. Все ругала и проклинала глупых зевак, собравшихся на нее поглазеть. Пламя уже стало лизать ей руки, охватило лицо и седую голову, а она все их бранит, все прокликает, да как! Проживи ты хоть тысячу лет, – не услышишь таких проклятий! Такая жалость, что ее искусство погибло вместе с ней! Есть у нее, правда, подражательницы, да куда им! – и в подметки ей не годятся.

Рассказчик печально вздохнул, послышались вздохи и среди слушателей, и все приуныли. Ведь самые зачерствелые негодяи не совсем нечувствительны к горю и способны искренне оплакивать потерю близкого человека, особенно если это был человек выдающийся и после него не осталось достойного преемника. Однако скоро чарка сделала свое дело и рассеяла общую грусть.

– А остальные все целы, или еще кто-нибудь попался? – спросил Гоббс.

– Угодил и еще кто-то. Все больше новички из фермеров, которых голод пустил по этой дорожке, когда у них отобрали их фермы под овчарни. Пошли они по миру, их поймали, до крови выдрали, привязав к телеге, и выставили у позорного столба. Они опять за свое – их опять выдрали, отрезали по одному уху и отпустили. Они и в третий раз за то же, – да что же было и делать беднякам? На этот раз их уж заклеямили и продали в рабство. Они бежали; их поймали и повесили. Вот и весь сказ! Некоторым удалось легче отделаться. Эй, Иокель, Берне, Годж! Подите сюда,

покажите-ка свои украшения.

Все трое поднялись с мест, вышли вперед и выставили напоказ свои спины, исполосованные багровыми рубцами. Один отбросил волосы и показал то место, где должно быть ухо, другой показал плечо с выжженным на нем клеймом и остаток изуродованного уха.

– Я – Йокель; был когда-то зажиточным фермером, – сказал третий. – Была у меня жена, были и детки; не то что теперь, – ни кола, ни двора, ни жены, ни детей, – все прибрал Господь. Может быть, теперь жена с детками на небе, может быть, где-нибудь в другом месте, только, слава Богу, уже не в Англии! Моя добрая, святая старушка мать кормила нас всех своим ремеслом: она была сиделка. Вот только один из ее больных возьми да и умри, а доктора не разобрали дела, обвинили матушку в отравлении и сожгли на костре. А как дети-то бедные плакали! Вот они каковы – английские законы!.. Эй, ребята! Выпьемте-ка дружно все разом – за милостивые английские законы, избавившие мою бедную мать от английского крошечного ада... Спасибо вам, братцы!.. Ну, стали мы с женой побираться, ходить из дома в дом, таская за собой голодных детишек... Но голод считается в Англии преступлением. Нас изловили и высекли плетью в трех городах. Выпьем-ка, ребята, еще раз за милостивые английские законы! Мэри не вынесла плетей – скоро настало и ее избавление. Теперь она лежит себе в своей могилке, не ведая ни горя, ни забот. А тут, как стали таскать меня из города в город, перемерли и дети. Пейте, ребята, пейте за маленьких деток, никому в жизни не сделавших зла... Пошел я опять побираться, вымаливая у прохожих черствую корку хлеба; меня поймали, я очутился у позорного столба и остался без одного уха; опять попался и остался без обеих ушей... Смотрите, ребята: вот все, что уцелело от них на память... Пошел я опять побираться, опять попался, и на этот раз меня продали в рабство, – вот и клеймо на щеке, или, может быть, не видно за грязью?.. Раб! Понимаете ли вы это слово? Английский раб! Смотрите – вот он стоит перед вами. Я бежал от своего господина – и теперь, если только меня поймут, я буду повешен. Да будет же проклята страна, в которой создаются такие законы!

– Нет-нет, тебя не повесят! – прозвенел вдруг в темноте детский голосок. – Сегодня же этот закон будет отменен!

Все с удивлением обернулись на голос и при ярком, красном свете костра увидели вдруг вынырнувшую из мрака фантастическую фигурку маленького короля.

– Это еще кто? Что за птица! Откуда ты взялся, мальчуган? – слышались расспросы.



Мальчик спокойно стоял под вопросительно устремленными на него любопытными взглядами.

– Я – Эдуард, король Англии, – отвечал он с княжеским достоинством.

Последовал взрыв оглушительного хохота: слушатели были в полном восторге от этой шутки. Но королю было не до шуток: он вспыхнул от обиды и гнева.

– Негодяи! Так вот ваша благодарность за оказанную вам королевскую милость!

Он говорил еще много и долго, сопровождая свою гневную речь взволнованными жестами, но его уже не слушали: со всех сторон посыпались остроты и насмешки, заглушаемые громким хохотом. Джон Гоббс тщетно пытался вставить свое слово, – никто его не слушал.

– Ребята! – крикнул он наконец что было мочи, – это мой сын-дурачок... Он воображает себя королем.

– Я и есть король, – сказал Эдуард, с живостью к нему оборачиваясь, – и ты со временем в том убедишься. Я знаю, что ты убийца, – ты сам признался; смотри же, ты за это заплатишься!

– Так вот ты как? Угрожать мне? Постой же, тебе это так не сойдет!

– Стой! – заревел дюжий атаман, бросаясь на помощь к королю, и одним ударом здорового кулака повалил Гоббса на землю. – Это еще что? Ты знать не хочешь не только королей, но и атаманов! Смотри, если ты еще раз посмеешь зазнаться, я тут же вздерну тебя своими руками. А ты, мальчуган, – сказал он, обращаясь к Его Величеству, – в другой раз не угрожай товарищам и не распускай о них худой славы, – запомни это хорошенько. Будь себе на здоровье королем, если уж тебе так хочется, только не выдавай себя за короля Англии. Подумай, ведь это государственная измена. Все мы здесь не Бог весть какие благородные люди, однако между нами не найдется ни одного негодяя, который изменил бы своему королю, – так-то, приятель. Вот посуди сам, правду ли я говорю. Эй, ребята, грянем-ка разом: «Да здравствует Эдуард, король Англии!»

– Да здравствует Эдуард, король Англии! – дружно раздался в ответ оглушительный крик, от которого дрогнули стены. Лицо короля просияло, и, слегка склонив голову, он промолвил просто и с достоинством:

– Благодарю, мой добрый народ.

Такой неожиданный результат привел всю компанию в дикий восторг. Когда наконец буря криков и смеха поулеглась, атаман обратился к мальчику и добродушно, но в то же время строго, сказал:

– Послушай, приятель, это наконец из рук вон глупо. Забавляйся себе, коли тебе нравится, но только выбери себе другой титул – слышишь?

– Пусть он будет Фу-Фу Первый, король шутов! – предложил медник. Слово понравилось, поднялся свист, хохот, гиканье, раздались дружные крики:

- Да здравствует наш король – фу-фу Первый!
- Тащи его короновать!
- Мантию ему, мантию!
- Дайте ему скипетр!
- На трон, на трон его!

И прежде чем бедная маленькая жертва успела опомниться, ей уже нахлобучили на голову какую-то оловянную посудину, накинули на плечи рваное одеяло, усадили ее на бочонок и всунули ей в руки паяльную трубку медника. Потом все бросились перед мальчиком на колени и, утирая глаза – кто грязным рукавом, кто кулаком, кто передником, – стали вопить:

- Смилуйся над нами, всемилостивейший король!
- Не попирай нас, пресмыкающихся перед тобой во прахе червей, могущественный государь!
- Сжался над твоими рабами и удостой их хоть милостивым королевским пинком!
- Согрей нас своими благодетельными лучами, красное наше солнышко!
- Позволь облобызать следы ног твоих!
- Сблагороди хоть плюнуть-то на нас, государь, чтобы наши дети и дети детей наших могли гордиться твоею царскою милостью!

Но шутник-медник положительно заткнул всех за пояс в этот вечер. Бросившись на колени, он сделал вид, что хочет поцеловать королевскую ногу, и получил за это сердитого пинка прямо в физиономию. Вскочив на ноги и придерживая рукой ушибленное место, он стал умолять, чтобы ему поскорее дали кусочек пластыря – закрыть заветное место, к которому прикоснулась королевская нога, так как даже воздух не смеет теперь его коснуться.

– Теперь целое состояние себе наживу – стану ходить по дорогам и показываться за деньги, по сто шиллингов за погляденье! – выкрикивал медник с такими ужимками, что все покатывались со смеха, а некоторые даже не на шутку завидовали его необыкновенному успеху в этот вечер.

«Если б я нанес им кровную обиду, они и тогда не могли бы более жестоко мне отомстить, – думал бедный маленький король. – А я обещал еще им милость... Вот она – людская благодарность!»

И горькие слезы – слезы стыда и обиды – выступили на глазах оскорбленного мальчугана.

## Глава XVIII

### Король у бродяг

С рассветом вся шайка была на ногах и тронулась в путь. Дул резкий, холодный ветер; небо заволокло тучами, ноги вязли в грязи. Компания приуныла: одни были грустны и молчаливы, другие – раздражительны и злы; вчерашнего веселья как не бывало, – всех томила жажда, всем до одного хотелось опохмелиться.

После предварительного краткого внушения Гугу атаман сдал Джека на его попечение, строго приказав обходиться с ним помягче. Джонсу Канти он решительно запретил трогать мальчика и велел оставить его в покое.

Вскоре ветер разогнал тучи и погода прояснилась, а с ней вместе прояснилось и настроение почтенной компании. Путники отогрелись и развеселились; слышались разговоры, смех, шутки, остроты, – жажда жизни и ее радостей проснулась в бродягах с новой силой. Шумная ватага внушала невольный страх прохожим: встречные почтительно уступали дорогу оборванцам и смиренно выносили их наглые издевательства, не дерзая отвечать. Мимоходом бродяги таскали белье с заборов и все, что попадалось им под руку, часто на глазах у самих владельцев, которые не пытались даже вступить за свое добро, довольные уже тем, что дешево отделались от этих разбойников.

По дороге негодяи ворвались в одну небольшую ферму и принялись хозяйничать, как у себя дома, пока трепещущий от страха хозяин со всею семьей опустошал свои кладовые, приготовляя им завтрак. Они обнимали и целовали хозяйку и ее дочерей, когда те подавали им кушанья, говорили им всякие пошлости и издевались над ними; швыряли в хозяина и в его сыновей костями и объедками и до упаду хохотали при всяком метком ударе. Заключение они свои подвиги тем, что вымазали маслом голову одной из дочерей фермера за то, что, выйдя из терпения, она обругала их за дерзости. На прощанье они пригрозили, что вернутся и сожгут дом со всеми его жильцами, если на них вздумают пожаловаться.

Около полудня, после долгого, утомительного перехода шайка остановилась на привал под каким-то забором, неподалеку от довольно большого селения. После часового отдыха все разбрелось в разные стороны, чтобы войти в деревню каждому порознь и, орудя в одиночку, поживиться, кто чем сумеет. Джек отправился с Гуго. Потолкавшись по

деревне и не наткнувшись ни на какое подходящее дельце, Гуго вышел наконец из терпения и сказал своему спутнику:

– Ну местечко! Даже и стибрить-то нечего. Придется, видно, идти просить Христа ради.

– Этому не бывать! Ступай, проси, если хочешь. Я не пойду.

– Не пойдешь? – воскликнул Гуго, с удивлением вытаращив глаза. – Что так? С каких это пор ты заважничал?

– Что ты хочешь этим сказать?

– Да хоть бы то, что тебе это не в диковинку; небось, с детства привык клянчить на улицах.

– Я-то? Да ты после этого просто дурак!

– Брось свои комплименты, не дури. Знаем ведь и мы, что ты за птица. Твой отец нам рассказывал, что ты каждый день ходил просить милостыню. Или, может быть, он врет, если дозволено так выражаться о вашем почтенном папеньке, – сказал Гуго с насмешливым хохотом.

– Он не отец мне, и конечно он лжет.

– Полно, приятель, будет ломаться; ведь все равно меня не проведешь, только себе беду наживешь. Вот возьму да и расскажу ему, чтоб он задал тебе хорошую трепку.

– Можешь не трудиться, я и ему повторю то же самое.

– Вот молодец так молодец, – хвалю за обычай! Страху в тебе ни на волос нет, – одно жаль, – что ты глуп, как я погляжу. Мало, что ли, достается в жизни побоев да колотушек, чтобы самому подставлять свою шею? Только ты как хочешь, брат, а я тебе не верю. Я верю твоему отцу. Зачем ему врать? Конечно, при случае он и соврет; но в этом случае ему нет нужды врать, а умный человек без нужды врать не станет. Ну да уж ладно, что с тобой сделаешь! Не хочешь идти побираться – не надо. Только как же нам быть? Разве вот что: пойдем обчищать кухни.

– Убирайся, ты мне надоел! – нетерпеливо воскликнул король.

– Да что же это, наконец! – проговорил с сердцем Гуго, – просить не хочешь, воровать не хочешь, – чего ж тебе надо? Ну, хочешь, я тебя научу, что тебе делать? Ты только заманивай прохожих, и я один согласен работать. Идет, что ли? Ну-ка, посмей отказаться!

У короля уже готов был вырваться презрительный ответ, когда Гуго поспешно перебил его, шепнув:

– Тише! Вон идет господин; сейчас по лицу видно, что добрый. Я упаду на землю, будто в припадке, а ты, как только он подойдет, начинай плакать, охать и кричать; скажи ему: «Ах, сэр, это мой бедный больной брат; мы с ним несчастные сироты. Ради Бога, сжальтесь над бедным

страдальцем, подайте хоть пенни; пожертвуйте от ваших щедрот несчастному убитому Богом созданию!» Да смотри у меня – проси хорошенько: плачь, пока он не раскошелится, не то я тебе такую встряску задам, что век не забудешь!..

С этими словами Гуго закатил глаза, заохал, застонал и начал кривляться, а когда незнакомец подошел ближе, с громким воплем бросился на землю и стал кататься и биться, как в припадке падучей.

– Ах, Господи! Несчастный, как он мучается! – воскликнул сострадательный незнакомец, бросаясь к Гуго. – Как тут быть? Попробовать разве его поднять...

– Нет-нет, не троньте меня, добрый сэра, – воздай вам Господь за вашу доброту; меня нельзя трогать, когда у меня припадок. Вот, если угодно, мой брат может рассказать вашей милости, как я страшно страдаю. Добрый сэра, пожертвуйте пенни, один только пенни на хлеб бедным сиротам; а помочь мне, горькому, – все равно ничем не поможешь.

– Вот тебе не один, а целых три пенни, бедняга, – сказал джентльмен, пошарив в кармане и вынимая монету. – Вот тебе, возьми. А ты, мальчуган, подойди-ка поближе да помоги мне поднять брата: надо его снести...

– Я ему вовсе не брат, – перебил незнакомца король.

– Как не брат!

– Не верьте, не верьте ему, добрый сэра, – простонал Гуго, скрежеща зубами от злости. – Он знать не хочет родного брата, который уже одной ногой стоит в могиле!

– Какой же ты дрянной, жестокосердый мальчишка, если только это в самом деле твой брат. Стыдись! Взгляни, какой он беспомощный, – не может пошевелиться, бедняга! Ты говоришь, что он тебе не брат; в таком случае, кто же он?

– Нищий, бродяга и вор – вот он кто! Теперь он у вас выпросил милостыню; в другой раз он вас обкрадет. Хотите видеть чудо? Пустите в ход вашу палку, и он мигом выздоровеет.

Но Гуго не стал дожидаться чуда. В один миг он был на ногах и пустился улепетывать во все лопатки. Взбешенный джентльмен бросился за ним с поднятой палкой, а король, горячо возблагодарив Господа, со всех ног пустился бежать в противоположную сторону, – и бежал, не переводя духа, пока не потерял их обоих из вида. Передохнув немного, он быстрым шагом двинулся по первой попавшейся дороге. Скоро деревня осталась далеко позади, но мальчик все шел вперед; так шел он, почти бежал, в продолжение нескольких часов кряду, пугливо озираясь и ежеминутно ожидая погони. Но постепенно он успокоился, и страх его уступил место

приятному сознанию безопасности.

Тут только мальчик почувствовал, что он очень устал и страшно проголодался. Он остановился у дверей первой встречной фермы; но только он открыл рот, собираясь попросить чего-нибудь поесть, как его грубо прогнали: его платье свидетельствовало против него. Негодующий и обиженный, он пошел дальше, твердо решившись не подвергать себя больше подобному унижению. Но голод смирит всякую гордость, и с наступлением вечера бедный король опять попытал было счастья у дверей другой фермы. Здесь вышло еще хуже: его не только разбранили и прогнали, но еще посулили арестовать как бродягу, если он сейчас же не уберется.

Настала бурная, холодная ночь, а бедный бездомный король брел все дальше вперед, куда глаза глядят, еле волоча ноги. Он не мог даже отдохнуть, потому что стоило ему только присесть, как холод начинал пробирать его до костей. Странное, небывалое ощущение охватило его среди ночного безмолвия, пока он одиноко брел по безграничному, безлюдному пространству. То слышались ему какие-то приближающиеся голоса, замиравшие в глубокой ночной тишине, то чудились туманные, неясные призраки, выступавшие из окружающего мрака, и невольная дрожь охватывала бедного мальчугана. По временам он видел как будто мелькающий огонек; но огонек мерцал где-то далеко-далеко, – точно светил из другого мира. Минутами ему слышался неясный, отдаленный звон колокольчиков овечьего стада или печальное блеяние овец и мычанье коров. Вместе с порывом ветра доносился откуда-то из-за полей и лесов унылый вой деревенских собак, – и чувствовал маленький король, что кругом него вольно кипит жизнь и только он один покинут и одинок в этом безграничном, безлюдном пространстве...

Он шел все вперед и вперед, спотыкаясь на каждом шагу, прислушиваясь к шороху сухих листьев над головой, который казался ему тихим шепотом каких-то неведомых голосов. Вдруг где-то совсем близко мелькнул огонек. Мальчик остановился как вкопанный, притаившись в темноте. Огонек оказался маленьким фонарем, слабо мерцавшим у открытых дверей какого-то сарая. Король прислушался – нигде ни души, кругом ни звука. Стоять на месте было так страшно, холодно, а гостеприимная дверь так соблазнительно манила к себе, что он не устоял и решился войти. Но только он успел проскользнуть в дверь, как услышал за собой голоса. Он мигом очутился за каким-то бочонком. В сарай вошли с фонарем двое работников с фермы и принялись что-то прибирать, болтая между собой. Пока они ходили взад и вперед со своим фонарем, король

смотрел во все глаза, отыскивая себе укромное местечко, и наконец заметил в противоположном углу сарая теплое стойло, куда и решил пробраться, как только уйдут люди. Тут же в углу он разглядел старые, сваленные в кучу попоны, которые могли ему сослужить службу в качестве одеяла. Скоро работники управились со своим делом и вышли, захватив с собою фонарь и приперев дверь. Король весь трясся от стужи и потому не зевал: нащупав попоны, он сгреб их и благополучно пробрался в стойло. Из двух попон он смастерил себе постель, двумя другими укрылся. Попоны оказались старые, потертые и очень мало грели; вдобавок от них до дурноты разило крепким запахом конского пота, – и все-таки король чувствовал себя счастливейшим из королей.

Несмотря на то, что мальчик и озяб, и проголодался, он был так утомлен, что его сейчас же начало клонить ко сну и он стал забываться. Но только он перестал сознавать окружающее и готов был крепко уснуть, он вдруг совершенно ясно почувствовал чье-то легкое, чуть слышное прикосновение. В один миг сон как рукой сняло, и мальчик весь замер от страха. Он лежал без движения и прислушивался, затаив дыхание. Кругом тихо – ни звука. Король все слушал – он не знал, долго ли, но ему казалось, что очень долго... По-прежнему мертвая тишина. Он стал было опять забываться, и вдруг опять то же таинственное прикосновение невидимого существа! Мальчика охватил трепет суеверного ужаса. Как ему быть? Что делать? – Он терял голову. Бежать из теплого насиженного угла? Но куда? Все равно из сарая не убежишь – двери заперты; а оставаться в этих четырех стенах и бродить впотьмах, с таинственным, страшным призраком за спиной, – еще ужасней! Что же ему оставалось делать? Было, конечно, одно средство, и он его знал – это протянуть руку и ощупать то, что его пугало.

Но это было легче сказать, чем сделать. Три раза мальчик протягивал в темноте свою дрожащую руку и три раза отдергивал ее прочь – не потому, что рука его что-нибудь нащупала, а потому, что он наверное знал, что вот-вот сейчас до чего-то дотронется. Наконец в четвертый раз он решился протянуть руку немного подальше и нащупал что-то мягкое и теплое. Он так и обмер от ужаса: он был до того измучен, нервы его были так страшно напряжены, что ему прежде всего пришло в голову, не человеческий ли это труп, еще не остывший? И мальчик решил, что скорее умрет, чем дотронется до него еще раз. Но, видно, плохо он знал непобедимую силу человеческого любопытства. Скоро его дрожащая рука помимо его воли опять потянулась в темноте к таинственному, страшному предмету. Он нащупал длинную прядь волос, вздрогнул, но не отнял руки, а продолжал

щупать дальше: вот точно теплый, мягкий канат... дальше, дальше, и перед ним оказался теленок! И канат-то был не канат, а просто телячий хвост.

Король чуть не сгорел со стыда. Ну, можно ли быть таким отпетым трусом, чтобы пугаться безобидного спящего теленка! Но он напрасно называл себя трусом; испугал его, конечно, не теленок: его ужас был вызван чем-то несуществующим, созданным его воображением, и всякий другой мальчик на его месте, в ту эпоху диких суеверий, наверное испугался бы не меньше его.

Король был в восторге от своего открытия, и не потому только, что страхи его рассеялись; он чувствовал себя таким беспомощным, покинутым и одиноким, люди отнеслись к нему с такой бесчеловечной жестокостью, что возможность отдохнуть в обществе такого кроткого и незлобивого животного, как теленок, показалась ему истинным благополучием. И он стал нежно ласкать своего нового друга.

Пока мальчик поглаживал теплую, мягкую спину животного – теленок лежал близехонько от него, – ему пришла в голову счастливая мысль извлечь еще одну выгоду из общества своего нового товарища. Недолго думая, он перестлал себе постель рядом с теленком и, вплотную прижавшись к нему, укрылся с ним вместе старой попоной. Через минуту ему стало так хорошо и тепло, как никогда, кажется, не бывало на королевских пуховиках в Вестминстерском дворце.

На душе у него повеселело, жизнь показалась отрадней и легче. Чего ему не доставало? Он был свободен, на совести у него не было преступления, ему удалось избавиться от подлой компании воров и мошенников; ему было тепло и уютно, и он чувствовал себя совершенно счастливым. Между тем буря разыгралась не на шутку. Ветхий сарай трещал и вздрагивал под порывами ветра, с воем разгуливавшего вокруг его стен; но теперь, когда королю было так тепло и уютно, для него это была суцая музыка: «Ревни себе, завывай на здоровье, – я тебя не боюсь», – говорил он себе.

С радостным чувством покоя он теснее прижался к своему новому другу и скоро забылся тихим, сладким сном. Где-то вдали уныло выли собаки; грустно, протяжно мычали коровы; ветер еще пуще злился и завывал; дождь яростно хлестал по кровле сарая, – но ничего не слышал английский король, покоившийся сном праведника рядом с теленком, который тоже нимало не смущался бурей и спокойно дремал, не подозревая, какой великой чести он удостоился.



## Глава XIX

### Король у крестьян

Проснувшись ранехонько на следующее утро, король почувствовал у себя за пазухой что-то мокрое и увидел, что это была крыса, которая, спасаясь от дождя, умудрилась примоститься у него на груди. Ее побеспокоили, и она сейчас же дала тягу.

– Глупая, чего ты испугалась? – сказал с улыбкой мальчик. – Ведь я такой же бездомный бродяга, как и ты. Мне ли, бесприютному и беспомощному, обижать несчастное, слабое создание! Я еще должен быть тебе благодарен за доброе предзнаменование: когда король пал так низко, что даже крысы забираются к нему спать, падение его не может идти дальше и судьба его может измениться только к лучшему.

С этими словами мальчик встал и вышел из стойла; как раз в эту минуту он услышал детские голоса. Дверь отворилась, и в сарай вошли две маленькие девочки. Увидев его, они перестали болтать и смеяться и остановились как вкопанные, с любопытством разглядывая его. Минуту спустя, пошептавшись между собой, они подошли чуть-чуть поближе и опять остановились, не спуская с него удивленных глаз. Мало-помалу они расхрабрились и начали уже вслух разбирать его по косточкам.

– Какой хорошенький! – сказала одна.

– И кудрявый, – подхватила другая.

– Только очень оборванный.

– И должно быть, голодный.

Они подошли еще ближе, пугливо оглядывая мальчика со всех сторон, точно какого-нибудь диковинного зверя, который, чего доброго, вдруг возьмет да и укусит. Наконец, взявшись за руки для пущей безопасности, девочки подошли совсем близко и уставились на него своими ясными любопытными глазками.

– Мальчик, ты кто такой? – набравшись смелости, спросила наконец одна с честной прямоотой.

– Я – король, – был решительный, спокойный ответ.

Пораженные девочки посмотрели на него широко открытыми глазами.

– Король? Какой король? – с любопытством спросили они наконец в один голос.

– Король Англии.

Девочки в недоумении переглянулись, потом взглянули на него, опять друг на дружку, и наконец одна сказала:

– Слышишь, Марджери? Он говорит, что он король. Как ты думаешь, это правда?

– А то как же, Присси? Не станет же он лгать. Ведь если это неправда, значит, он лжет. Сама подумай, как же иначе? Все, что не правда, то ложь, – это всегда так бывает.

Против такого неоспоримого аргумента было нечего возразить, и сомнения недоверчивой Присси совершенно рассеялись.

– Если ты в самом деле король, так я тебе верю, – сказала Присси после минутного раздумья, порешив, что на честь короля можно положиться.

– Я в самом деле король.

Дело сразу уладилось. Без дальнейших разговоров Его Величеству поверили на слово, и девочки принялись наперебой расспрашивать его, как он сюда попал, почему так плохо одет, откуда он, куда держит путь и т. д. Для мальчика было истинным облегчением поведать свое горе этим добрым, бесхитростным существам, и, позабыв на время свой голод, он стал с жаром описывать им свои беды. Его печальный рассказ встретил самое искреннее сочувствие; когда же он добрался до последних своих приключений и оказалось, что без малого сутки у него во рту не было маковой росинки, девочки, недолго думая, схватили его за руки и потащили в дом, чтобы поскорее накормить.

Король был совершенно доволен и счастлив.

«Когда я сделаюсь опять королем, – говорил он себе по дороге, – первую моею заботою всегда будут дети: я никогда не забуду, с каким состраданием и доверием отнеслись ко мне эти крошки. Будь они постарше да поумней, они наверное подняли бы меня на смех и решили бы, что я лгун».

Мать девочек приняла короля очень ласково; его жалкий вид и явно больной рассудок растрогали ее женское сердце и вызвали в ней живейшее сострадание. Это была очень бедная вдова; много горя видела она на своем веку и потому жалела всех несчастных. Ей вообразилось, что бедный полоумный ребенок убежал от родных и друзей, и она принялась допытываться, чей он и откуда, чтобы принять меры и вернуть его домой; но все ее расспросы, все ловкие подходы и намеки на соседние города и деревни не привели ни к чему: по лицу мальчика, да и по его ответам, было видно, что все эти места были ему совершенно незнакомы. Он охотно, с оживлением говорил о дворце, о придворных новостях и делах,

беспрестанно называя «отцом» покойного короля; но как только разговор переходил на другие предметы, он умолкал и все его оживление пропадало.

Женщина была в большом затруднении, однако решилась во что бы то ни стало добиться своего. Она принялась за стряпню, продолжая между делом свои расспросы и стараясь как будто ненароком выведать у мальчика его тайну. На какие только хитрости она не пускалась! Пробовала заговаривать о коровах – хоть бы что! – мальчик и ухом не ведет; заговорила об овцах – то же самое. Таким образом ее предположение, не служил ли он где-нибудь в пастухах, разлетелось прахом. Заговаривала она о мельницах, об извозчиках, о медниках и кузнецах, о торгашах и разносчиках, о сумасшедших домах и о приютах – никакого толку; она была разбита по всем пунктам, но все-таки не падала духом. Все было перепробовано, кроме одного, зато теперь она была уверена, что напала на след: ясно, что мальчик был где-нибудь в услужении. И фермерша с новым рвением ударилась в свои розыски. Но, увы, результаты оказались столь же плачевны. Ни щетки, ни тряпки, ни мытье полов, ни топка печей, ни чистка посуды – ничто не интересовало маленького оборванца; ко всему он относился все так же безучастно. Потеряв всякую надежду, добрая душа – больше для очистки совести – завела речь о кухне и стряпне. Вдруг, к ее великому удивлению и восторгу, лицо короля оживилось. «Наконец-то я его поддела на удочку», – с гордостью подумала хозяйка, довольная своей настойчивостью и умением взяться за дело.

Теперь она со спокойной совестью могла дать отдых своему усталому языку, ибо король, воодушевленный голодом и вкусным запахом, подымавшимся из горшков и кастрюль, пустился в такое красноречивое описание всевозможных лакомых блюд, что не прошло и трех минут, как хозяйка с уверенностью решила про себя: «Да, теперь ясно как день: он служил поваренком!»

Между тем мальчуган продолжал с увлечением расписывать разные изысканные яства, так что добрая женщина подумала наконец: «Господи Боже мой, откуда он знает столько блюд! И какие все мудреные! Ведь и подают-то их только у знатных вельмож да у богачей!.. Впрочем, что ж это я думаю? Ну конечно, прежде чем рехнуться, он служил во дворце – даром что теперь он такой оборванец, – и наверное был поваренком на королевской кухне! Вот я сейчас это узнаю».

И, довольная своим остроумным открытием, она попросила короля присмотреть за стряпней, пока она на минутку выйдет, намекнув, что он может, если захочет, прибавить одно-два лишних кушанья по своему усмотрению. Она вышла из кухни, вызвала за собой девочек и оставила его

одного.

«Что ж, – подумал король, – это не первый пример в истории. В давно прошедшие времена нечто подобное случилось с другим английским королем, и я думаю, что нисколько не уроню своего достоинства, если последую примеру Альфреда Великого. Постараюсь только исполнить свою обязанность лучше него: ведь у него пирожки подгорели».

Намерение самое похвальное, но трудно исполнимое. Не прошло и минуты, как маленький король, по примеру своего великого предшественника, до того углубился в размышления, что и у него чуть не сгорела вся стряпня. По счастью, хозяйка подроспела как раз вовремя, чтобы спасти завтрак от окончательной гибели. Она разом вывела короля из мечтательности, задав ему хорошую головомойку. Заметив, однако, что мальчик искренне огорчен, она сейчас же смягчилась и сделалась по-прежнему ласковой и доброй.

Мальчик сытно позавтракал и сразу почувствовал себя бодрым и сильным. Любопытно в этой трапезе было то, что оба – и гость, и хозяйка, – милостиво снисходили друг к другу и оба в душе были убеждены, что оказывают друг другу величайшую честь. Сначала хозяйка хотела было покормить мальчика отдельно – сунуть ему, бродяге и нищему, кое-какие остатки, – но потом, пристыженная тем, что чересчур строго разбранила бедняжку, она усадила его за общий стол, где он ел наравне с остальными членами семьи. Со своей стороны и король, сконфуженный своею оплошностью, был очень ласков со всеми и даже не заикнулся о том, что хозяйка и ее дочери не имеют права сидеть с ним за одним столом и должны, как подобает его сану, прислуживать ему во время трапезы. Итак, дело уладилось к общему удовольствию. Хозяйка чувствовала себя счастливой сознанием своей доброты к ничтожному бродяге; король был как нельзя более доволен собой за то, что сумел оказать ласку и внимание этой доброй женщине – простой крестьянке.

После завтрака хозяйка приказала ему перемыть посуду.

Мальчика покорило; он был уже готов возмутиться, но вспомнил короля Альфреда и успокоился. «Ведь пек же пирожки Альфред Великий, – подумал он, – а если б пришлось, пожалуй, он перемыл бы и посуду; попробую-ка и я».

Перемыть посуду представлялось ему плевым делом; однако работа оказалась и трудной, и грязной. Наконец он кое-как управился со всеми чашками, мисками и деревянными ложками. Ему очень хотелось поскорее уйти и продолжить свой путь; но не так-то легко было отвязаться от хлопотливой хозяйки. Она подсовывала ему одну работу за другой, и он

добросовестно выполнял все ее поручения. Наконец она усадила его вместе с девочками чистить яблоки, но он выказал такую явную неохоту к этому занятию, что она поспешила его освободить и дала наточить кухонный нож. Затем ему было поручено щипать шерсть. Тут мальчик начал думать, что он перещеголял даже короля Альфреда в подвигах по хозяйству, которые интересны только в исторических книгах и анекдотах, и что, пожалуй, на сегодня работы с него бы и довольно. Поэтому, когда после полдника добрая женщина вручила ему корзину с котятками и велела сбегать их утопить, он принял окончательное решение сложить с себя непрощенную службу. Но ему помешало новое препятствие в лице Джона Канти, с коробом за плечами, и Гуго.

Король еще издали, прежде чем они его увидели, заметил приближение этих мерзавцев; ни слова не говоря, он проворно подхватил корзину с котятками и быстро шмыгнул черным ходом во двор. Здесь он поспешно сунул свою ношу в какой-то сарай, а сам выскочил в переулок и опрометью пустился бежать.

## Глава XX

### Король и пустынник

Скрытый со стороны дома высокой изгородью, тянувшейся вдоль переулка, мальчик в смертельном страхе мчался к соседнему лесу. Он не переводил духа и не оглядывался вплоть до самой опушки; здесь он обернулся и увидел вдали какие-то две фигуры. Этого было достаточно. Недолго думая, он стремглав полетел дальше и бежал до тех пор, пока не очутился в густой чаще леса. Тут только он остановился, еле переводя дух, с уверенностью, что находится наконец в безопасности, и прислушался. Кругом царила торжественная, жуткая тишина. Временами его напряженный слух различал какой-то неясный, таинственный шорох, какие-то страшные, необъяснимые, точно замогильные звуки, угнетавшие его еще сильнее, чем мертвая тишина, которую они нарушали.

Сначала мальчик решил до вечера остаться в лесу; но скоро его разгоряченное, покрытое испариной тело остыло, и он так продрог, что вынужден был пуститься в путь, чтобы согреться. Он пошел было напрямик через лес в надежде скоро выбраться на дорогу, но надежде его не суждено было сбыться. Он шел довольно долго, но чем дальше он шел, тем гуще становилась чаща. В лесу начинало темнеть, и скоро он убедился, что надвигается ночь. Невольная дрожь пробирала его при одной мысли провести ночь в этом страшном, глухом месте. Он попробовал прибавить шагу, но это ровно ни к чему не привело, так как он ничего не видел у себя под ногами и беспрестанно спотыкался, путаясь в густой заросли кустарников и вьющихся растений.

Зато как же он обрадовался мелькнувшему невдалеке огоньку! Осторожно подкрался он ближе, поминутно останавливаясь, прислушиваясь и озираясь. Огонь светил из крохотного оконца убогой лачуги. Мальчик услышал чей-то голос и собрался было бежать, но, хорошенько прислушавшись, изменил намерение: он явственно расслышал, что читали молитву. Тогда он подкрался к самому оконцу и, поднявшись на цыпочки, заглянул внутрь. Он увидел маленькую каморку с плотно утрамбованным земляным полом; в одном углу была прилажена грубая постель из тростника, покрытая старым, рваным одеялом; тут же стояли: ведро, кружки, чашка и две-три глиняные миски; к стене были приставлены узкая деревянная скамья и хромоногий табурет; в очаге, чуть тлея, догорала

охапка хворосту. В углу, перед распятием, освещенным одинокой свечой, стоял на коленях старик, а возле него, на деревянном ящике, лежали открытая книга и человеческий череп. Это был крепкий, высокий старик с длинной, белой как снег бородой и с такими же волосами до плеч. На нем был длинный балахон из овечьих шкур, покрывавший его до самых пяток.

«Святой старец, – подумал король. – Наконец-то счастье и мне улыбнулось».

Старик поднялся с колен; тогда король постучался в дверь лачуги.

– Войди, но входя, отрешись от греха, ибо земля, на которую ты ступишь, священна, – раздался изнутри глухой голос.

Король вошел и остановился у порога. Пустынник оглянулся и горящим, беспокойным взглядом уставился на вошедшего.

– Кто ты? – спросил он.

– Король, – был уверенный, спокойный ответ.

– Входи, король, входи с миром! – восторженно воскликнул пустынник. Не переставая твердить: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» – он с лихорадочной торопливостью засуетился, придвинул к очагу скамейку, усадил короля и, подбросив хвороста в догоравшее пламя, в волнении зашагал по комнате.

– Добро пожаловать! Не ты первый забрел в мою обитель; многие добивались этого счастья и, как недостойные, были изгнаны. Но ты, король, добровольно сложивший с себя корону, отрекшийся от благ суетного, лживого мира, облекшийся во вретище, чтобы отдаться молитве и умерщвлению плоти, – ты всегда будешь здесь желанным гостем! Добро пожаловать в мою обитель! Ты проведешь здесь всю жизнь до конца твоих дней.

Король пытался вставить слово и прервать речь святого отца, но тот, не обратив на это никакого внимания, продолжал с возрастающим жаром все громче и громче:

– Здесь ты насладишься миром. Никто не найдет тебя в этом тихом убежище. Здесь ты безопасен от соблазнов суетной мирской жизни, которую сам Господь заповедал нам презирать. Ты будешь молиться; будешь изучать великую книгу; будешь размышлять о безумии и заблуждениях кратковременной жизни земной и о блаженстве жизни грядущей и вечной. Ты будешь питаться злаками и кореньями, облачишься во власяницу и обречешь свое грешное тело бичеванию ради спасения души. Будешь пить одну чистую воду и обретешь душевный мир и блаженство, и никто не найдет тебя в этом тихом убежище – никто в целом мире до скончания дней твоих.

Речь старика становилась все медленнее, голос – все тише, и наконец он забормотал что-то невнятное, не переставая шагать назад и вперед. Король воспользовался этим, чтобы объясниться. Под влиянием охватившего его смутного страха он с большим волнением и в самых красноречивых словах описал все свои бедствия и невзгоды. Но старик продолжал бормотать себе под нос и не слушал его. Вдруг он подошел к мальчику и сказал ему таинственным шепотом:

– Слушай, я открою тебе мою тайну!

Он наклонился к самому его уху; потом вдруг выпрямился, стал прислушиваться, подкрался на цыпочках к окну и, высунувшись в темноту, огляделся по сторонам. Затем он, так же крадучись, вернулся к королю и, припав к его лицу, чуть слышно прошептал:

– Я – архангел!

Король вздрогнул всем телом; ужас искажил его лицо. «Господи, и зачем только я убежал от разбойников! Уж лучше бы мне оставаться с ними, чем попасть в лапы к этому безумному старику!» – подумал он.

– Да, да, вижу, ты теперь почувствовал, где находишься, – продолжал между тем старик сдержанным шепотом. – По лицу вижу, что ты проникся благоговейным трепетом! Иначе и быть не может, ибо ты узрел Небо. Я возношусь горе и снова спускаюсь на грешную землю в одно мгновение ока. Пять лет тому назад, вот здесь – на этом самом месте, – с неба сошли ангелы, чтобы возвестить мне волю Господню. От них исходил свет, осиявший мою убогую хижину. Преклонив передо мною колена – потому что я был выше их, – они нарекли меня Божьим архангелом. Я подымался в обители горняя, я говорил с патриархами... Тронь мою руку – не бойся – тронь смело... вот так! Знай же, этой руки касались праотцы Авраам, Исаакий и Иаков! Я был в златых чертогах; я видел Господа лицом к лицу! – старик умолк, любуясь произведенным эффектом. Но вдруг лицо его омрачилось, брови грозно нахмурились, и он гневно воскликнул:

– Да, я архангел, только архангел!.. А мог бы быть папой! Я говорю правду! Двадцать лет тому назад мне открылось в видении, что я должен быть папой – на то воля Божья, – и я был бы папой, если бы не король. Он разорил смиренный мой монастырь и пустил меня по миру, бездомного и бесприютного. Король лишил меня моей великой будущности! – старик опять невнятно забормотал, потом в бессильной ярости, с проклятиями, стал бить себя кулаками по голове, бессвязно выкрикивая:

– Да, теперь я только архангел, только архангел, – а мог бы быть папой!

Битый час бесновался и метался безумный, к великому ужасу бедного



маленького короля. Затем припадок безумия миновал; больной притих, спустился со своих облаков и, превратившись в доброго, разговорчивого, ласкового старика, скоро покорил невинное детское сердце. Он усадил мальчика поближе к огню; заботливо отогрел его, осторожно обмыл, перевязал ссадины и ушибы на его ногах и принялся стряпать ужин, все время приветливо болтая со своим гостем и поминутно поглаживая его то по головке, то по щеке с такою нежностью, что ужас и отвращение к архангелу очень скоро сменились в детской душе уважением и горячей признательностью к человеку.

Гость и хозяин мирно поужинали, помолились перед распятием, и старик уложил мальчугана в постель в соседней каморке; с нежной заботливостью, точно родная мать, он укутал его потеплее и, ласково простившись с ним, подсел к своему очагу и стал задумчиво глядеть в потухающее пламя. Некоторое время он сидел спокойно; потом начал лихорадочно потирать себе лоб, точно с усилием что-то припоминая, и вдруг вскочил и бросился в каморку, где лежал мальчик.

– Послушай: ты король? – спросил он.

– Король, – отвечал мальчик сонным голосом.

– Какой король?

– Английский!

– Значит, Генрих умер?

– К несчастью, умер. Я его сын.

Лицо старика стало мрачнее ночи; с безумной яростью всплеснул он иссохшими руками и несколько минут простоял так, тяжело переводя дух.

– Знал ты, что он нас ограбил и, бесприютных, пустил по миру? – спросил он хриплым голосом.

Ответа не было. Старик нагнулся, всматриваясь в спокойное лицо спящего мальчика и прислушиваясь к его ровному дыханию.

«Спит, крепко спит», – прошептал он, и по лицу его скользнула дьявольская улыбка. В эту минуту мальчик улыбнулся во сне.

«Он улыбается, на душе у него легко», – прошептал пустынный, отходя от спящего. Осторожно ступая на цыпочках, он стал сновать из угла в угол, нагибаясь и что-то отыскивая. Он беспрестанно с беспокойством оглядывался на постель и все бормотал себе под нос. Наконец он нашел то, что искал, – большой, старый, заржавленный кухонный нож и брусок. Усевшись на прежнее место у огня, он принялся старательно точить нож, не переставая бормотать и тихонько хихикать. Ветер завывал вокруг хижины, откуда-то издалека доносились таинственные, неясные ночные отголоски. Из углов и щелей глядели на старика блестящие глазки отважных крыс и

мышей, но он весь ушел в свое занятие и ничего не замечал.

Время от времени он проводил пальцем по острию отточенного ножа и, покачивая головой, шептал с довольным видом:

– Теперь стал острый, совсем острый.

Он не замечал, как летит время, и в глубокой задумчивости, спокойно продолжал свое дело.

– Его отец наделал нам много зла, – шептал он бессвязно, – он разорил нас, – зато теперь горит в огне вечном. Да-да, в огне вечном! Он пустил нас по миру, – но, видно, такова воля Божья: мы не должны роптать. Зато он теперь и горит в огне вечном, да, в огне неумолимом, всепожирающем и беспощадном.

И он точил, все точил свой нож, и бормотал, и хихикал, и опять бормотал.

– Все он, все он – его отец. Теперь я только архангел, а если бы не он, был бы папой.

Мальчик пошевелился. Старик стрелой бросился к постели и, опустившись на колени, занес над ним нож. Спящий опять пошевелился и, широко раскрыв глаза, глянул сонным, бессмысленным взглядом; но спустя минуту по его тихому, ровному дыханию можно было с уверенностью сказать, что он опять крепко уснул.

Старик застыл в своей позе, внимательно прислушиваясь к дыханию ребенка и вглядываясь в его сонное личико, потом опустил занесенную руку, поднялся на ноги и, неслышно ступая, вышел из каморки.

«Полночь давно миновала, – прошептал он, – нельзя давать ему кричать; может подвернуться прохожий, могут услышать...»

И старик безумно заметался из угла в угол, подбирая здесь веревку, там обрывок тряпки; потом он опять подкрался к спящему и в одну минуту ловко и осторожно связал ему ноги, даже не потревожив его сна. Он хотел связать и руки, но каждый раз, как он пытался их скрестить, мальчик отдергивал то ту, то другую; наконец, когда архангел начал уже приходить в отчаяние от своих бесполезных попыток, мальчик сам сложил во сне ручки, и в ту же минуту они были связаны. После этого старик осторожно подвел спящему повязку под подбородок и так проворно и ловко затянул ее крепким узлом на темени, что мальчик даже не шевельнулся и продолжал спать крепким сном.

## Глава XXI

### Гендон идет выручать

Старик отошел и, ступая чуть слышно, как кошка, принес себе скамью и сел у постели. Его фигура была наполовину освещена слабым, мерцающим светом догорающего очага и наполовину исчезала в тени.

Не спуская хищных глаз со спящего мальчика, он караулил его, не замечая, как летит время, осторожно оттачивал свой нож и все бормотал и хихикал. Всем своим видом и позой он напоминал чудовищного серого паука, подстерегающего добычу.

Прошло довольно много времени. Мысли старика витали где-то далеко; он пристально глядел перед собой, но ничего не видел. Вдруг он заметил, что глаза мальчика широко открыты и что он, помертвев от ужаса, смотрит на нож. Опять дьявольская улыбка скользнула по лицу старика, и он, не меняя позы, спросил:

– Молился ли ты, сын Генриха VIII?

Мальчик беспомощно заметался; еле слышный, слабый стон вырвался из его стянутых челюстей. Старик принял этот стон за утвердительный ответ.

– Молись еще. Читай отходную – твой час настал!

Конвульсивная дрожь пробежала по телу ребенка; лицо его помертвело. Отчаянным усилием он попытался освободиться из своих пут; он иступленно рвался и бился, но все было напрасно. А пока он метался, старик со спокойной улыбкой смотрел на него, точил свой нож и приговаривал:

– Время дорого, время дорого. Читай свою отходную, – настал твой последний час.

Мальчик застонал и затих. Он задыхался. Из глаз его полились безмолвные, горячие слезы, но его мучитель не тронулся этими слезами и даже не заметил их.

Наконец занялась заря. Старик вдруг точно спохватился, заметив рассвет.

– Нечего медлить, – заговорил он в лихорадочной тревоге. – Ночь миновала. Она пролетела как миг. О, если бы она могла длиться целые годы! Готовься, чертово отродье, сын врага святой церкви! А коли трусишь...

Остальное затерялось в невнятном бормотании.

Старик опустил на колени и занес нож над стонавшим ребенком... Чу! Что это? Где-то совсем близко раздались голоса... Нож выпал из рук старика; в одно мгновение ока он был на ногах и, набросив на мальчика овечью шкуру, выпрямился и насторожился. Голоса приближались, становились громче; слышался как будто шум драки, крики о помощи, потом быстрые удаляющиеся шаги; в ту же минуту раздался сильный стук в дверь.

– Эй, кто там есть, отворяй! Да поскорей, черт тебя побери! – слышался чей-то громкий голос.

Он прозвучал в ушах короля как небесная музыка: то был голос Майльса Гендона.

Старик в бессильной ярости заскрежетал зубами и выскочил из каморки, плотно притворив за собой дверь.

Вслед за тем король услышал следующий разговор:

– Мир тебе, святой отец! Где мальчик?

– Какой мальчик, любезный?

– Он еще спрашивает – какой! Не лги, отец, не вывертывайся, меня не надуешь! Мне не до шуток. Неподалеку отсюда я повстречал негодяев, которые его у меня выкрали, и заставил их во всем сознаться; они сказали, что мальчик от них убежал и что они его выследили вплоть до твоих дверей. Да я и сам видел его следы. Меня не проведешь! Берегись, отче! Если ты сейчас же мне его не отдашь... Говори – где мальчик?

– Ах, Господи! Как это я сразу не догадался, что ты спрашиваешь об оборванце, который пришел ко мне вчера вечером! Если уж тебе так интересно знать, где он, так я тебе скажу: я послал его сбегать тут неподалеку... Он скоро вернется...

– Да скоро ли? Может быть, он недавно ушел – так я его догоню? Давно он ушел?

– Напрасно станешь беспокоиться; мальчик сейчас вернется.

– Делать нечего – подожду. Или нет, постой. Ты говоришь – послал его, – ты послал! Ты лжешь, он бы наверное не пошел. Он бы выщипал всю твою старую бороду за подобную дерзость! Ты лжешь, отче, наверное лжешь! Он бы не сделал этого ни для тебя, и ни для кого на свете.

– Может быть, и не сделал бы ни для кого из людей, очень может быть, не спорю. А для меня сделал, потому что я не человек.

– Не человек?.. Так кто же ты, ради самого Бога?

– Это тайна – смотри, не выдавай. Я – архангел!

У Майльса Гендона вырвалось восклицание весьма нелестного для

архангела свойства.

– Да, это возможно, – пробормотал он, – теперь понятна причина его любезности! Я его знаю. Ни для кого из смертных он пальцем бы не шевельнул, – ну, а архангелов должны слушаться даже короли, – дело ясное! Слушай, святой отец... Тс! Это что?

Между тем бедный маленький король то трепетал от ужаса, то замирал от ожидания и надежды; он делал отчаянные усилия, чтобы крикнуть и позвать Гендона, но у него вырывались только слабые стоны, и бедному мальчику было ясно, что Гендон их не слышит. Последнее восклицание верного друга разом воскресило его, как воскрешает умирающего свежий воздух полей. Собравшись с последними силами, он сделал новую попытку закричать, но слабый стон, вырвавшийся из его груди, был заглушен ответом старика, который как раз в эту минуту сказал:

– Я ничего не слышу, кроме ветра.

– Может быть, и ветер, и даже наверное ветер. Я давно уже слышу какие-то странные звуки, не то стоны, не то какой-то шорох... Вот опять! Пойдем, посмотрим, что там такое!

Мальчик не мог вынести овладевшей им радости. Его утомленные легкие работали изо всех сил, но туго стянутые челюсти и наброшенная на него овечья шкура парализовали эти усилия. Еще минута – и ужас оледенил сердце несчастного: он услышал, как старик сказал:

– Да нет же, – послушай сам, – это ветер шелестит вон в тех кустах. Идем, я тебя провожу.

Потом мальчик слышал, как собеседники пошли прочь; слышал, как удалялись их голоса и шаги; наконец все смолкло, и он остался один; кругом воцарилась могильная тишина.

Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем опять послышались приближающиеся голоса, шаги и еще какой-то глухой стук, похожий на топот лошадиных копыт.

– Я не могу дольше ждать, – послышался голос Гендона. – Нечего медлить: наверное, он заблудился в лесу. Куда он пошел? В какую сторону? Скорей покажи мне дорогу.

– Вон в эту... да постой, я сам тебя провожу.

– Что дело – то дело. Право, ты добрее, чем кажешься с первого взгляда; по крайней мере, я не думаю, чтобы нашелся другой архангел с таким добрым сердцем, как у тебя. Может быть, хочешь ехать верхом? Так возьми ослика, которого я приготовил для моего мальчугана, а то так поезжай на моем злополучном муле. И ловко же меня поднадули: такую всучили норовистую дрянь, что не приведи Бог!

– Спасибо, поезжай лучше сам на своем муле, а осла поведешь в поводу. Я пойду пешком, дело будет вернее.

– Ну, так хоть поддержи осла, пока я с опасностью для жизни вскарабкаюсь на эту длинноногую клячу.

Вслед за тем раздался отчаянный топот; послышались удары кулака, свист плети, брань, проклятия и наконец громкий голос Гендона, обращавшегося к мулу с убедительной речью. Это последнее средство, по видимому, сильнее всего остального подействовало на строптивый нрав животного, потому что вслед за тем все стихло и неприязненные действия были на время прекращены.

С невыразимым ужасом прислушивался связанный маленький король к удаляющемуся топоту копыт, который скоро замер вдали. Последняя его надежда отлетела, тупое отчаяние овладело его душой. «Ушел... единственный мой друг покинул меня, – подумал мальчик, – теперь я пропал: старик вернется, и тогда...»

Он не закончил своей мысли и с таким неистовством начал опять метаться и биться, что прикрывавшая и душившая его овечья шкура сползла с него.

Вдруг скрипнула дверь. Король похолодел: ему показалось, что он уже чувствует холодное прикосновение ножа. В ужасе он зажмурился, но сейчас же открыл глаза и увидел перед собой Джона Канти и Гуго. Ему хотелось крикнуть: «Слава Богу» – но он только жалобно застонал.

Не прошло минуты, как его руки и ноги были развязаны и Канти с Гуго, подхватив его под руки с двух сторон, опрометью пустились с ним прямо по лесу.

## Глава XXII

### Жертва вероломства

Опять начались печальные скитания бедного короля Фу-Фу Первого в обществе бродяг и негодяев; опять пришлось ему выносить наглые издевательства и тупоумные шутки, принимать пинки и тычки от озлобленных против него Канти и Гуго – само собой разумеется, за спиной у атамана. В целой шайке не было человека – кроме Канти и Гуго, – который ненавидел бы мальчика. Многие даже искренне его полюбили, и все без исключения восхищались его смышленостью и отвагой. Первые два-три дня Гуго, на попечение которого опять был отдан мальчик, из кожи лез, чтобы ему досадить и вывести его из терпения, а по вечерам, когда начиналось обычное разгульное веселье, он потешал всю честную компанию своими издевательствами над ним. Два раза подряд он отдал ему ногу, как будто нечаянно, но оба раза король сдержался и с истинно королевским достоинством сделал вид, что ничего не замечает. Наконец, когда Гуго проделал то же и в третий раз, мальчик не вытерпел, схватил дубину и одним ловким ударом повалил его на землю, к великому восторгу зрителей. В ту же минуту взбешенный Гуго, вскочив на ноги, поднял другую дубину и в свою очередь бросился на своего маленького противника.

Вокруг бойцов сейчас же образовался тесный круг зрителей; начались усердные подзадоривания, посыпались остроты и шутки. Но бедному Гуго не везло. Да и мог ли такой неуклюжий увалень устоять против ловкой, привычной руки маленького короля, до тонкости изучившего все приемы фехтовального искусства под руководством лучших учителей Европы? Мальчик стоял в грациозной, уверенной позе, ловко отражая сыпавшиеся на него удары; его наметанный глаз подмечал малейшую оплошность противника, и тогда на бедного Гуго, как молния, обрушивался меткий удар, за которым неизменно следовала целая буря радостного хохота и восторженных криков. Через какие-нибудь четверть часа Гуго, весь избитый и покрытый синяками, с позором бежал с поля битвы под градом безжалостных насмешек, а маленький герой, целый и невредимый, был подхвачен на руки восхищенной толпой и водворен на почетное место рядом с атаманом. С торжественной церемонией ему присвоили новое имя «короля боевых петухов», а прежний, менее почетный, титул был тут же

упразднен, со строгим запрещением произносить его под страхом изгнания из шайки.

Но, невзирая ни на что, все попытки заставить короля с пользой служить шайке не привели ни к чему. Он упорно отказывался действовать и вдобавок только одного и добивался – убежать. В первый же день по его возвращении его попытались было втолкнуть в чью-то пустую отпертую кухню; но он не только вернулся с пустыми руками, а еще чуть не поднял на ноги весь дом. Приставили его помощником к меднику, но мальчик наотрез отказался ему помогать, да еще чуть его не прибил его же собственной паяльной трубкой. Кончилось тем, что у Гуго и у медника только и оказалось дела, что стеречь, как бы мальчик не убежал. Он метал громы своего королевского гнева на всякого, кто осмеливался посягать на его свободу или отдавать ему приказания. Послали его как-то (под охраной Гуго) побираться в обществе нищенки с хилым ребенком; но он решительно объявил, что просить милостыни не будет и не желает иметь ничего общего ни с нищими, ни с бродягами, ни с ворами.

Так прошло несколько дней. Лишения и невзгоды бродячей жизни, грязь, нищета, грубость, жестокость и распущенность, окружавшие бедного пленника, становились ему день ото дня невыносимее, и он начинал уже думать, что лучше бы было, пожалуй, разом умереть под ножом старика, чем терпеть эту медленную пытку. Только по ночам он забывал свое горе; во сне он был опять могущественным королем и властелином. Но зато как ужасно было пробуждение! С каждым днем безотрадная действительность угнетала его все сильнее и сильнее, и жизнь казалась ему все тяжелее и горше.

Наутро после схватки Гуго встал, пылая мщением и замышляя против короля злокозненные планы. За ночь у него их назрело целых два. Один состоял в том, чтобы как можно больнее уязвить гордость заносчивого «выскочки», воображающего себя королем; а на случай, если бы этот первый план не удался, имелся и другой: взвалить на мальчика какое-нибудь преступление и отдать его в руки неумолимого правосудия.

Для того чтобы привести в исполнение первый план, предполагалось «заклеймить» мальчику ногу, растравив на ней рану. Гуго справедливо рассуждал, что этим он доведет бедного короля до отчаяния, а раз ему это удастся, он рассчитывал с помощью Канти заставить его просить Христа ради где-нибудь на дороге, выставляя напоказ свою болячку.

Слово «заклеймить» имело особенный смысл на воровском наречии и подразумевало очень легкий и быстрый способ открывать на теле всевозможные болячки и раны. Для этого пускалась в ход особая мазь из



негашеной извести, мыла и железной ржавчины; мазь густо намазывалась на тряпку, которую плотно привязывали к тому месту, где требовалось открыть рану. Кожу быстро разъедало до живого мяса. Тогда рану смазывали кровью, которая, высыхая, чернела и придавала болячке самый омерзительный вид. Сверху накладывалась какая-нибудь грязнейшая повязка, но непременно так, чтобы рана зияла из-под нее и возбуждала сострадание прохожих.

Гуго заранее заручился согласием медника (того самого, которого король чуть не поколотил). Они заманили мальчика подальше от того места, где шайка стояла лагерем, повалили его, и, пока медник крепко его держал, Гуго проворно и ловко привязал ему к ноге мазь.

Король неистово отбивался, грозил, что повесит их, как только вернет свою власть, но негодяи потешались над его бессильной злобой, хохотали над его угрозами и держали его, как в тисках. Между тем мазь стала сильно щипать, и, конечно, действие ее не замедлило бы сказаться в полной мере, не случись нежданной помехи.

Но помеха случилась: на сцену неожиданно выступил «раб», – тот самый бродяга, который рассказывал свою историю и проклинал английские законы. Он разом положил конец затее негодяев, сорвав повязку с ноги бедного мальчика.

Как только король почувствовал себя на свободе, он выхватил дубину из рук своего освободителя и с яростью набросился на обидчиков; но «раб» удержал его и уговорил отложить расправу до вечера, когда шайка будет в сборе и представится возможность разделаться с ними сообща и без помехи. Он отвел всех троих в воровской лагерь и обо всем донес атаману. Атаман внимательно выслушал и, подумав немного, объявил, что король не будет больше просить милостыню, так как может пригодиться на что-нибудь и почище, и тут же решил, что вместо того, чтобы побираться, мальчик станет отныне воровать.

Надо было видеть восторг Гуго! Он не раз пытался подбить короля на воровство, но это ему не удавалось. «Зато теперь негодному выскочке никак уж не отвертеться – не осмелится же он послушаться атамана!» Гуго решил, что бы то ни стало в тот же день привести в исполнение свой план, то есть расставить мальчику западню и выдать его властям; но обставить этот план надо было очень хитро и тонко, придав делу такой вид, как будто все произошло совершенно случайно. В последнее время маленький король пользовался в шайке большой популярностью, и Гуго знал, что его не погладят по головке, если он предаст общего любимчика в руки правосудия – заклятого врага всей ватаги.

Итак, в назначенное время Гуго в сопровождении своей жертвы направился в соседнее селение. Долго бродили они по улицам – Гуго, зорко выглядывая и выжидая удобного случая, чтобы привести в исполнение свой изменнический план; король – также зорко выглядывая и выжидая, не представится ли ему возможность убежать из унижительной неволи. Оба умышленно пропустили несколько удобных случаев, потому что и тот, и другой решили действовать наверняка, так, чтобы уже ничего не предпринимать на авось.

Гуго посчастливилось первому. Вдали показалась женщина с тяжело нагруженной корзиной. Глаза негодая вспыхнули злобной радостью. «Только бы мне обработать это дельце, – уж я тебя упеку, петушиный король, клянусь жизнью!» – подумал он. С виду совершенно спокойно, но в душе сгорая от нетерпения, он выждал, пока женщина прошла мимо.

– Подожди меня здесь, я мигом вернусь, – шепнул он, когда увидел, что настала самая удобная минута, и с этими словами, крадучись, двинулся вслед за женщиной.

Сердце короля затрепетало от радости. Наконец-то ему удастся бежать! Лишь бы только Гуго ушел подальше.

Но надежде его не суждено было сбыться. Скоро Гуго нагнал женщину, проворно выхватил у нее из корзинки какой-то большой сверток и, обернув его на ходу старым одеялом, которое он носил перекинутым на руке, дал тягу. Женщина сейчас же заметила пропажу и подняла отчаянный крик. Она не видела, как у нее вытащили сверток, но почувствовала, что корзина ее вдруг стала легче. Между тем Гуго, поравнявшись с королем, сунул, ему в руки украденный сверток.

– Скорей беги за мной, кричи погромче: «Держи вора», – да смотри, постарайся сбить их со следа! – шепнул он ему и исчез, завернув за угол. Обезав переулком, он, как ни в чем не бывало, с другого конца улицы опять появился на месте происшествия и с самым невинным видом принялся смотреть, что будет дальше.

Король с гневом швырнул сверток на землю; одеяло свалилось с него. Как раз в эту минуту подоспела женщина с целой толпой собравшегося на ее крик народа. Одной рукой она ухватила мальчика за шиворот, в другую подхватила свой сверток и принялась тут же отчитывать воришку, который тщетно пытался вырваться из ее цепких рук.

Гуго было больше нечего делать: враг его пойман и не скоро вырвется на свободу. Он пустился бежать во все лопатки, радостно улыбаясь и соображая, как бы ему похитрей и поправдоподобнее объяснить всю историю атаману.

Между тем король отчаянно вырывался из рук крепко вцепившейся в него женщины. Выйдя, наконец, из терпения, он крикнул ей с гневом:

– Дапусти ты меня, наконец, оглашенная! Говорят тебе – я не воровал!

Толпа тесно их обступила, на чем свет стоит ругая и проклиная бедного короля. Какой-то кузнец, весь покрытый копотью, в кожаном переднике и с засученными рукавами, вздумал было даже «маленько поучить воришку». Но не успел он подступить к королю, как длинный меч сверкнул в воздухе и полновесный удар обрушился на протянутую руку кузнеца. В ту же минуту загадочный владелец меча весело сказал:

– Полно, полно, добрые люди! Нельзя ли полегче – без брани и кулачной расправы? Закон и без нас рассудит дело. Выпусти-ка мальчика, голубушка.

Кузнец сердито оглядел внушительную фигуру статного воина – владельца меча – и отошел прочь, ворча себе под нос и потирая ушибленную руку. Женщина неохотно выпустила мальчугана; зрители неприязненно уставились на незнакомца, однако благоразумно промолчали. Король бросился к своему избавителю с пылающим лицом и сияющими глазами:

– Долго же ты пропадал, сэр Майльс! Мог бы и поторопиться! Ты пришел как нельзя более вовремя: расправься хорошенько с этими негодями.

## Глава XXIII

### Король арестован

Гендон не мог сдержать невольной улыбки и, нагнувшись к мальчику, шепнул ему на ухо:

– Потихе, потихе, Ваше Величество, не говорите лишнего, это может нам повредить. Поверьте, я все улажу. – А про себя он подумал: «Я и забыл, что по его милости я теперь рыцарь – сэра Майльс. Удивительное дело, как это он ничего не забывает, несмотря на свой помутившийся рассудок!.. Конечно, мой титул – пустой звук, не больше; однако надо ж было его заслужить, и, право, по мне больше чести удостоиться звания рыцаря в призрачном царстве грез, чем добиваться путем унижения графского титула в любом королевстве мира сего».

Толпа расступилась, чтобы пропустить полицейского. Он подошел к королю и хотел было положить руку ему на плечо, но Гендон его остановил:

– Пожалуйста, не тронь мальчика, приятель: он и так пойдет, я за это ручаюсь. Веди нас; мы готовы следовать за тобой.

Полицейский пошел вперед в сопровождении женщины, не выпускавшей свертка; следом двинулись Майльс с королем; за ними повалила толпа. Король негодовал и готов был возмутиться. Но Гендон живо его успокоил.

– Рассудите сами, Ваше Величество, – шепнул он ему вполголоса, – ведь закон – это опора не только всего государства, но и вашей королевской власти; может ли глава государства, отказываясь повиноваться закону, требовать повиновения от других? Сейчас произошло несомненное нарушение закона; но когда Ваше Величество будете опять на престоле, разве вам не приятно будет вспомнить, как однажды, будучи в положении частного лица, вы поступили, как подобает в таких случаях поступать всякому честному гражданину, и тем показали великий пример своим подданным?

– Ты прав, довольно. Вот увидишь, сумеет ли король показать пример своим подданным и с честью выйти из испытания.

Когда мировой судья вызвал женщину давать показания, она присягнула, что маленький арестант – тот самый воришка, который ее обокрал, а так как никто не мог доказать противного, все улики против

короля были налицо. Сверток развязали, и когда в нем оказался жирный, белый, откормленный поросенок, судья заметно смутился, а Гендон вздрогнул и побледнел; один только король, в невинности души, был по-прежнему спокоен. Несколько минут судья что-то соображал, потом обратился к женщине и спросил:

– Во сколько ты ценишь украденную у тебя собственность?

– В три шиллинга восемь пенсов, ваша милость, – ответила женщина с низким поклоном, – ни одним пенни меньше. Цена умеренная и назначена по чистой совести, сэр.

Судья беспокойным взглядом обвел толпу зрителей и подозвал к себе полицейского.

– Очистить зал от публики и запереть двери, – приказал он.

Приказание было немедленно исполнено. В зале присутствия остались только представители власти, обвинительница, обвиняемый и Майльс Гендон. Гендон застыл на месте, бледный как смерть; на лбу у него выступили крупные капли холодного пота. Судья обратился к женщине; в его голосе слышалось сострадание.

– Послушай, любезная, может быть, голод заставил беднягу мальчугана пуститься на воровство. Тяжелые нынче для бедняков времена. Посмотри: лицо у него не злое, а ведь голод – не свой брат... Известно ли тебе, что за покражу предмета стоимостью свыше тринадцати с половиной пенсов виновный отвечает жизнью и приговаривается к повешению?

Король вздрогнул, глаза его широко раскрылись от ужаса; однако он сейчас же оправился и продолжал спокойно стоять. Зато женщина страшно взволновалась: она затряслась всем телом и громко воскликнула с ужасом:

– Что я наделала, Господи? Да сохрани меня Бог, брать на душу такой грех! Ваша милость, вызвольте меня из беды... Что мне делать? Что я могу сделать?

– Можно изменить оценку, – просто и сохраняя свое судейское достоинство, отвечал судья. – Это допускается, пока показание еще не занесено в протокол.

– В таком случае, ваша милость, ради самого Бога, оцените поросенка в восемь пенсов, и я возблагодарю Создателя за то, что с моей совести снимется этот тяжкий грех!

Майльс Гендон от радости забыл всякие церемонии и, бросившись к королю, обнял его и крепко поцеловал, чем несказанно удивил мальчика и даже оскорбил его королевское достоинство. Женщина горячо поблагодарила судью, откланялась и ушла, захватив с собой поросенка. Полицейский отворил ей дверь и вышел за нею в темную переднюю. Судья

стал заносить ее показание в книгу протоколов. Гендону показалось подозрительным исчезновение полицейского; он потихоньку прокрался следом за ним, и вот какой разговор он услышал:

– Поросенок жирный и, должно быть, превкусный; я его покупаю. Получай свои восемь пенсов.

– Восемь пенсов! Ты с ума сошел! Так я тебе его и отдала за восемь пенсов! Поросенок мне самой стоит три шиллинга восемь пенсов звонкой монетой прошлого царствования, а ему подавай за восемь пенсов!

– Так это твое последнее слово? Ладно. А кто присягал, что поросенок стоит восемь пенсов? Значит, ты приняла ложную присягу? Идем, коли так, к господину судье, – он нас рассудит! А мальчишку велит повесить.

– Постой, погоди; я согласна, на все согласна. Давай сюда восемь пенсов, только, ради Бога, молчи!

Женщина ушла, заливаясь слезами. Гендон поспешно вернулся в присутственную залу. Вслед за ним вошел и полицейский, припрятав свою добычу в надежное местечко. Судья еще некоторое время что-то записывал в книгу; потом прочел королю мудрую, но снисходительную отповедь и приговорил его к непродолжительному тюремному заключению и публичному наказанию плетью. Король был ошеломлен; он открыл было рот, готовясь, вероятно, излить на судью весь запас своего королевского гнева, но, к счастью, вовремя заметил отчаянные жесты Гендона, кое-как сдержался и промолчал. Гендон схватил его за руку, откланялся судье, и затем оба, в сопровождении полицейского, двинулись в тюрьму. Как только они вышли на улицу, король с негодованием вырвал у Гендона руку и сердито сказал:

– Неужели ты думал, что я соглашусь идти в тюрьму? Ах ты глупец! Пока я жив, этого не будет!

– Послушайте: верите вы мне, наконец, или нет? – сказал Гендон резко. – Ради Бога, замолчите, а то вы испортите все дело. Все в руках Божьих: ни вы, ни я ничего тут не можем сделать; остается только терпеливо ждать. Будет чему радоваться – будем радоваться; а нет, – так будет еще время горевать.

## Глава XXIV

### Побег

Короткий зимний день был на исходе. Улицы опустели; только кое-где попадались запоздалые прохожие, да и те торопились, точно хотели поскорее управиться со своими делами, чтобы укрыться по домам от резкого ветра и наступающих сумерек; все бежали чуть не бегом, не оглядываясь по сторонам, и никто не обращал внимания на наших путников, никто их даже не замечал. «Странное положение для короля, – думал бедняжка Эдуард VI, – король идет в тюрьму, и никого это не только не трогает, но даже не удивляет». Между тем полицейский вывел их на пустую рыночную площадь, и они стали пересекать ее наискось. Когда они дошли до середины площади, Гендон придержал полицейского за руку и сказал ему вполголоса:

– Погоди минуточку, братец, здесь нас никто не услышит, – мне надо сказать тебе два слова.

– Нельзя, сэр, не дозволяется. Прошу вас, не задерживайте меня; уже и так скоро ночь на дворе.

– А ты все-таки погоди, потому что мое дело и тебя близко касается. Повернись к нам спиной и притворись, что ничего не видишь: дай мальчугану убежать.

– И вы смеете мне это предлагать! Арестую вас именем...

– Стой, не спеши. Смотри, не дай маху, – и, понизив голос до шепота, Гендон добавил: – Ты купил поросенка за восемь пенсов, но он может дорого тебе обойтись. Берегись, любезный, как бы не поплатиться за него головой!..

Эта неожиданность ошеломила полицейского, но немного погодя он оправился и на чем свет стоит начал ругаться. Гендон терпеливо подождал, пока он утомился, и тогда сказал:

– Ты пришелся мне по душе, и я хочу выручить тебя из беды. Заметь себе хорошенько: я слышал все от слова до слова и сейчас тебе это докажу. – И он повторил полицейскому весь его разговор с женщиной, происходивший в передней суда.

– Вот видишь, как твердо я запомнил. Если представится случай, я могу все повторить хоть самому судье.

Полицейский на минуту онемел от страха, но скоро овладел собой и

ответил с напускной развязностью:

– Вы делаете из мухи слона. Это была просто шутка.

– Ну, а поросенка ты тоже взял в шутку?

– Конечно. Говорят вам, я шутил, – резко сказал полицейский.

– Я готов тебе верить, – отвечал не то серьезно, не то с насмешкой Гендон. – Так вот что: подожди меня здесь, а я сбегаю потолкую с господином судьей, он лучше нашего знает толк и в законах, и в шутках.

Он повернулся и, не переставая приговаривать, пошел назад. Полицейский в нерешительности потоптался на месте, потом раза два выругался и закричал:

– Эй, стойте, любезный, пожалуйста, подождите минутку! Вы вот сказали – судья. Да знаете ли вы, что судья так же мало способен понять шутку, как деревянный чурбан? Подите сюда, потолкуем. Я вижу, что попал впросак, – все из-за шутки, – невинной, глупейшей шутки. Я человек семейный – у меня жена, дети... Скажите толком, чего вам от меня нужно?

– Чтобы ты ненадолго – пока, не торопясь, можно сосчитать до ста тысяч, – ослеп, оглох и остоленел, – сказал Гендон таким тоном, точно дело шло о самом простом одолжении.

– Да ведь это будет моей погибелью, почтеннейший, – сказал полицейский с отчаянием. – Рассудите сами, сударь: с какой стороны ни взглянуть, ясно, что это была просто шутка. Но пусть даже это была и не шутка, – так и то за такую малость самое большее, чем я рискую, это получить нагоняй от судьи.

– Однако подобные шутки носят очень определенное название в кодексе уголовных законов, – с леденящей торжественностью ответил Гендон. – Сказать, какое?

– Я этого не знал! Ей-ей, не знал! Мне и не снилось, что об этом сказано в законах.

– Как же, сказано. И называется это вымогательством. Закон гласит: *Non compos mentis lex talfionis sis transit gloria mundi*.

– Ах, Бог ты мой!

– И полагается за это смертная казнь!

– Господи, спаси меня, грешного!

– Воспользовавшись опасностью, грозившей твоему ближнему, ты употребил во зло чувство сострадания и почти даром завладел чужою собственностью, стоимость которой превышает тринадцать с половиной пенсов. В глазах закона это – преступление, вымогательство при исполнении служебных обязанностей, и полагается за это смертная казнь через повешение, без милости, снисхождения и пощады, без отпущения



грехов и церковного покаяния.

– Поддержите, поддержите меня, сэр, не то я сейчас упаду! Сжальтесь надо мной! Не погубите! Я повернусь спиной и притворюсь, что ничего не вижу.

– Вот так-то лучше, приятель. Что умно, то умно. А поросенка возвратишь?

– Возвращу, возвращу, и ни за что, никогда в жизни, не дотронусь больше ни до какого поросенка, будь он во сто раз лучше и жирней! Идите – я слеп, я ничего не вижу. Скажу уж, что вы ворвались в камеру и силой отняли у меня арестанта. Дверь-то у нас совсем ветхая, еле держится, – я сам ее уже выбью под утро.

– И давно бы так, милый друг, тем более что и с тебя строго не взыщется: поверь, судье было жаль мальчугана, и он не станет оплакивать его побег.

## Глава XXV

### Гендон-Голл

Как только Гендон с маленьким королем отошли подальше от полицейского, Гендон сказал своему спутнику, чтобы тот выходил за город и там бы его подождал, пока он сбегает расплатиться в трактире. Через полчаса два друга, весело болтая, тряслись на своих длинноухих скакунах по дороге к востоку. Королю было теперь тепло и удобно, потому что он снял свои лохмотья и переоделся в платье, купленное для него Гендоном на Лондонском мосту.

Майльс не хотел ни в каком случае утомлять мальчугана; он решил, что длинные перегоны, недостаток сна и плохое питание во время пути могут дурно сказаться на его здоровье, которое и без того было расстроено и требовало для своего восстановления правильного образа жизни и умеренной траты сил. Все заботы его были направлены на то, чтобы вернуть рассудок его маленькому другу и вытеснить из его бедной больной головы беспокойные видения и грезы. Итак, несмотря на свое страстное желание попасть поскорее домой, откуда он так долго был изгнан, несмотря на все свое нетерпение, побуждавшее его мчаться день и ночь, Гендон решил продвигаться вперед потихоньку.

Отъехав около десяти миль, путники добрались до большого селения и остановились на ночлег в довольно приличном трактире. Между друзьями установились прежние отношения. Гендон занял свое место за столом короля и прислуживал ему за обедом; он же раздел и уложил его в постель, а сам завернулся в одеяло и растянулся на полу у дверей.

Следующие два дня друзья благополучно продолжали свой путь, беседуя между собой и рассказывая друг другу свои приключения за время их разлуки; эти рассказы очень занимали обоих. Гендон поведал королю о своих странствиях, рассказал, как архангел до самого полудня водил его по лесу и наконец, убедившись, что от него не так-то легко отделаться, привел его назад в свою лачугу. Здесь – рассказывал Гендон – старик заглянул в каморку, служившую ему спальней, в надежде, не вернулся ли мальчик в их отсутствие и не прилег ли отдохнуть, но вышел оттуда в большом огорчении и объявил, что мальчика нет. Гендон прождал короля до самого вечера и, потеряв всякую надежду на его возвращение, отправился на дальнейшие поиски.

– И знаете, святой отец был не на шутку огорчен исчезновением Вашего Величества, – сказал в заключение Гендон, – это было видно по его лицу.

– Еще бы, я в этом не сомневаюсь, – заметил король и в свою очередь рассказал свое страшное приключение, после чего Гендон от души пожалел, что не уколошил архангела тут же на месте.

В последний день путешествия Майльс очень волновался. Он болтал без умолку, рассказывал о своем старике-отце, о брате Артуре, говорил о том, какие это редкие, превосходные люди, с восторгом влюбленного вспоминал о своей Эдифи и был вообще так радостно настроен, что даже несколько раз с любовью отозвался о Гуге. Он долго распространялся о встрече, которая его ждет в Гендон-Голле, о том, какую неожиданностью будет для всех его возвращение и как ему обрадуются.

Дорога наших путников пролежала по красивой холмистой местности, мимо широких лугов, напоминавших волнующееся море. На каждом шагу попадались коттеджи, окруженные прекрасными фруктовыми садами. После полудня возвращающийся на родину блудный сын то и дело сворачивал с дороги и взбирался на каждый пригорок – поглядеть, не виднеется ли хоть издали родной дом. Наконец он его увидел.

– Смотрите, смотрите, мой дорогой государь, – воскликнул он в волнении, – вон она, наша деревня, а вон рядом и замок! Отсюда видны его башни. Вон тот лесок – это отцовский парк. Теперь вы узнаете, что значит богатство и величие! Только подумайте – семьдесят комнат в доме и двадцать семь человек прислуги! Недурная квартира для таких молодцов, как мы с вами? Поскачем галопом – я умираю от нетерпения.

Они спешили что было мочи, но добрались до деревни только через три часа. Проезжая деревней, Гендон ни на минуту не умолкал.

– Вот наша старая церковь, – и плющ на ней тот же; все по-старому, никаких перемен. А вот и старый трактир «Красный Лев»... вот рыночная площадь... и призовый шест... и водокачка – все по-старому, ничего не изменилось. Ничего – кроме людей. Да, десять лет для людей большой срок; иные как будто мне и знакомы, но меня никто не узнает.

Так болтал он, не переводя духу.

Наконец, миновав деревню, путники свернули на узенькую дорожку, окаймленную с обеих сторон высокой изгородью, и, быстро проехав по ней около полумили, въехали в огромные каменные ворота с колоннами и лепными гербами и очутились в прелестном саду, наполненном цветами. Перед ними был величественный замок!

– Добро пожаловать в Гендон-Голл, государь! – воскликнул Майльс. –

О, какой счастливый день! И отец, и брат, и леди Эдифь просто с ума сойдут от радости; в первую минуту они, может, и не заметят вас, государь, но вы не ставьте им этого в вину. Стоит мне сказать, что вы мой питомец, и объяснить, как я ценю мою привязанность к вам, – все изменится: вас встретят как родного, и наш дом навеки станет вашим домом.

В следующую минуту Гендон уже спешил перед высоким старинным крыльцом, помог сойти королю и, схватив его за руку, помчался с ним в замок. Поднявшись на несколько ступенек, они вошли в обширные покои. Гендон наскоро, позабыв всякие церемонии, усадил короля, а сам бросился к молодому человеку, сидевшему у письменного стола перед ярко пылающим огнем.

– Обними меня, Гуг! Скажи, ведь ты рад моему возвращению? Скорей зови батюшку, – я не могу чувствовать себя дома, пока не обниму его, не увижу его лица, не услышу его голоса!

На лице Гуга выразилось изумление, но только на один миг. Вслед затем он отшатнулся и смерил гостя гордым взглядом – взглядом оскорбленного достоинства. Спустя еще минуту, под влиянием какой-то сокровенной мысли, глаза его загорелись любопытством и состраданием – искренним или притворным – трудно было решить.

– Бедняга! У тебя голова не в порядке! Должно быть, ты натерпелся горя на своем веку; это видно и по лицу твоему, и по платью. За кого ты меня принимаешь?

– За кого принимаю?... Как – за кого? Конечно, за тебя самого, за Гуга Гендона, – сказал резко Майльс.

– А кем же ты себя-то воображаешь? – все так же мягко продолжал Гуг.

– Воображение тут ни при чем. Неужели ты посмеешь сказать, что не узнаешь меня, Майльса Гендона, твоего брата?

По лицу Гуга скользнуло выражение радостного удивления:

– Как, ты не шутишь? – воскликнул он. – Неужели мертвецы воскресают? Дай-то Господи! И наш бедный брат возвращен нам после стольких лет тяжелой разлуки? Ах, это слишком большое счастье, слишком все это хорошо, чтобы можно было поверить... Прошу тебя, не шути, пощади меня! Скорей, скорей поди сюда, к свету... дай мне взглянуть на тебя хорошенько.

Он схватил Майльса за руку, подтащил к окну и стал жадно оглядывать его с ног до головы, поворачивая во все стороны и пристально всматриваясь в каждую черту, точно стараясь удостовериться, что это действительно тот, кого он так страстно жаждал видеть. А блудный сын

весь сиял, радостно улыбался, с довольным видом кивал головой и приговаривал:

– Гляди, брат, гляди; не бойся, – ни одна черта не изменилась! Рассматривай меня на здоровье, мой милый Гуг. Ну что, теперь признал прежнего головореза Майльса? Ах, какой это счастливый, какой счастливый для меня день! Скорее давай руку, обнимемся... Господи, право, я, кажется, умру от радости!

И Майльс хотел было броситься в объятия Гуга, но тот отстранил его рукой и, понутив голову, вымолвил с волнением:

– О Господи, дай мне силы перенести это тяжелое разочарование!

В первый момент Майльс онемел от изумления.

– Да неужто ты и впрямь не узнал меня, Гуг? – воскликнул он наконец с огорчением.

Гуг грустно покачал головой и сказал:

– Дай-то Господи, чтоб я ошибался и чтобы другие нашли сходство, которого я не вижу. Увы, теперь я боюсь, что в письме была правда.

– В каком письме?

– Я говорю о письме, которое пришло к нам из-за моря; этому будет уже лет шесть-семь. В этом письме нас извещали о смерти брата; он был убит в сражении.

– Это ложь! Позови отца, он узнает меня.

– Мертвецов не вызывают из гроба.

– Так он умер! Отец умер, и я не увижу его! – воскликнул Майльс прерывающимся от волнения голосом, и губы его задрожали. – О Боже, вся моя радость отравлена этим известием. Теперь только один Артур может утешить меня. Пусти меня к нему – он меня узнает!

– Он тоже умер.

– Господи, умиloserдись надо мной, грешным! Умер... ты говоришь – умер?.. Умерли оба! Смерть взяла лучших, а недостойные, как я, остались жить... Неужели же... страшно спросить... неужели и леди Эдифь?

– Умерла? Нет, она жива.

– Слава Богу! Хоть за это слава и благодарение Богу. Я опять живу. Скорее же зови ее сюда! А если и она не узнает меня?.. Нет, не может быть... она не может меня не узнать, я не имею права в ней сомневаться. Позови же ее... позови старых слуг, – они меня узнают.

– Прежние слуги все умерли; осталось только пятеро: Питер, Гальси, Давид, Бернард и Маргарет.

С этими словами Гуг вышел из комнаты. Майльс простоял несколько минут, ошеломленный, потом принялся задумчиво ходить из угла в угол,

бормоча:

– Странная вещь: пятеро отпетых негодяев пережили двадцать честнейших и верных людей. Странная, очень странная вещь!

Он шагал взад и вперед, весь углубившись в свои размышления и совершенно позабыв о присутствии короля. Но Его Величество напомнил ему о себе, проговорив с самым искренним состраданием, хотя слова его и могли быть поняты в ироническом смысле:

– Не горюй, добрая душа! Не ты первый, не ты и последний, кого не признают и чьи законные права отвергают.

– Ах, государь! – воскликнул Гендон, покраснев, – не торопитесь меня осудить: подождите и увидите. Я не самозванец – она вам сама это скажет; вы это услышите из прелестнейших уст в Англии. Я – самозванец! Какая нелепость! Да мне знаком каждый уголок этого старого дома, каждый фамильный портрет в этой зале, каждая мелочь, – знакомы так близко, как ребенку его детская. Здесь я родился, здесь вырос. Я говорю правду; не стал бы я обманывать вас, Ваше Величество! И если бы даже она отреклась от меня – молю вас, не сомневайтесь во мне хоть вы, – я этого не вынесу.

– Да я и не сомневаюсь, – сказал король с детской простотой и доверчивостью.

– Благодарю вас от всего сердца! – воскликнул Гендон растроганным голосом.

– А ты сомневаешься во мне? – так же добродушно добавил король.

Гендон весь вспыхнул и так смутился, что не знал, что ему отвечать. По счастью, в эту минуту дверь отворилась и в комнату вошел Гуг. Следом за ним вошла прекрасная молодая леди в богатом наряде, в сопровождении нескольких человек ливрейных слуг. Молодая леди шла очень медленно, будто нехотя, склонив голову и потупившись. Лицо ее дышало невыразимой печалью. Майльс бросился к ней с криком:

– Эдифь, моя дорогая!..

Но Гуг остановил его жестом и, обернувшись к молодой леди, торжественно произнес:

– Взгляните на него: знаете вы этого человека?

При звуках голоса Майльса Эдифь слегка вздрогнула и покраснела. Теперь она дрожала всем телом. Несколько секунд она стояла молча, не отвечая Гугу; потом медленно подняла голову и взглянула на Майльса тупым, испуганным, ничего не выражающим взглядом. Вся кровь отхлынула от ее щек; лицо ее помертвело. Затем она произнесла голосом, таким же безжизненным, как и ее лицо: «Нет, я не знаю его» – и, быстро повернувшись, с подавленным рыданием, вышла из комнаты.

Майльс как подкошенный упал на стул, закрыв лицо руками. Прошла минута тягостного молчания.

– Вы видели этого человека? Знаете вы его? – сказал наконец Гуго, обращаясь к слугам.

Те только покачали головами в ответ. Тогда хозяин сказал:

– Мои слуги не знают вас, сэр. Боюсь, что тут произошла ошибка. Вы сами сейчас слышали, что и жена моя вас не признала.

– Жена?! Твоя жена! – В один миг Гуг был прижат к стене, как тисками. – Теперь я все понимаю, мерзавец! Ты написал подложное письмо и завладел моей невестой и моим состоянием. Вон отсюда! Я не хочу пятнать свою солдатскую честь кровью такого низкого негодяя!

Гуг, весь багровый, почти упал на стул и задыхающимся голосом приказал слугам схватить и связать дерзкого буяна. Но те, видимо, не решались.

– Он вооружен, сэр Гуг, а мы безоружны, – проговорил наконец один из них.

– Вооружен! Зато вас много, а он один. Хватайте его, говорят вам!

– Слушайте вы все, негодяи! – крикнул Майльс. – Вы знаете меня с детства; с тех пор я не изменился. Только троньте меня, и предупреждаю – плохо вам придется!

Это предостережение не пропало даром: люди невольно попятились к двери.

– Так убирайтесь отсюда, негодные трусы, вооружайтесь и охраняйте дверь, пока я пошлю кого-нибудь за стражей, – закричал Гуг. На пороге он обернулся и добавил, обращаясь к Майльсу:

– А вам советую не делать попытки бежать; все равно это вам не удастся.

– Бежать? О, на этот счет ты можешь быть совершенно спокоен. Майльс Гендон – хозяин Гендон-Голла; он останется здесь и с места не двинется – в этом не сомневайся.

## Глава XXVI

### Не признан

Несколько минут после этой сцены король сидел, глубоко о чем-то задумавшись.

– Странно... очень странно! Просто понять не могу, что бы все это значило!

– Нет ничего странного, государь! Он всегда был негодяем, я его с детства знаю.

– О, я не о нем говорю.

– Не о нем? Так о ком же?

– Я говорю: странно, что никто до сих пор не хватился короля.

– Короля? Какого короля? Я не понимаю.

– Не понимаешь? Неужели тебя не поразило во время нашего путешествия, что нигде по всей стране не видно ни курьеров, ни объявлений с описанием моей личности? Вероятная ли это вещь, чтобы глава государства мог бесследно исчезнуть, не вызвав своим исчезновением переполоха, – исчезнуть так, чтобы этого никто даже и не заметил?

– Да-да, вы правы, Ваше Величество; я совсем было об этом позабыл, – сказал Гендон и невольно подумал: «Бедняжка, он опять принялся за свои старые бредни!...»

– Но у меня есть план, – продолжал между тем маленький король, – который поможет нам обоим выпутаться из беды. Я напишу письмо на трех языках: на латинском, греческом и английском, а ты завтра же поутру свезешь его в Лондон. Да смотри, передай прямо в руки моему дяде, лорду Гертфорду. Он сейчас же узнает, что это писал я, и немедленно за мною придет.

– Не лучше ли будет обождать, государь, покуда я докажу свои права и вступлю во владение своим поместьем? Мне кажется, тогда было бы гораздо удобнее...

– Молчи! – перебил его король повелительным тоном. – Что значат все твои нищенские поместья и мелкие интересы в сравнении с благом целого государства и неприкосновенностью престола! – Потом, как бы устыдившись своей вспышки, он добавил мягко: – Повинуйся без страха: я восстановлю твои права; ты получишь больше, чем имел... Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал, и награжу тебя по-царски.



С этими словами мальчик взял перо и начал писать. Гендон несколько минут с любовью смотрел на него, потом сказал про себя: «Как говорит-то, как смотрит! Ни дать, ни взять – король! Особенно хорош он, когда сердится... И где он только этому научился? Откуда набрался? Вот он теперь сидит себе да царапает свои каракульки в полной уверенности, что пишет по-гречески или там по-латыни, – и счастлив, бедняжка... А ведь если мне не удастся как-нибудь заговорить ему зубы, придется его обмануть – сделать вид, будто я и впрямь отправляюсь исполнять его дикое поручение».

В следующую минуту сэр Майльс уже позабыл о своем питомце, задумавшись о случившемся. Он до того углубился в свои мысли, что когда король протянул ему оконченное письмо, он машинально взял его и сунул себе в карман.

«Как странно она держала себя, – думал он. – Мне кажется, она узнала меня и в то же время как будто не узнала. Я не уверен ни в том, ни в другом, и решительно не могу на чем-нибудь остановиться. Должна же она была меня узнать – не могла не узнать моего лица, фигуры, голоса, – в этом не может быть и тени сомнения. А между тем она говорит, что не знает меня, значит, она в самом деле не узнала, потому что она никогда не лжет... Ага, я, кажется, понимаю, в чем дело! Может быть, она солгала по его приказанию, покоряясь его воле. Вот в чем разгадка. Она была такая странная, казалась такою испуганной... Да, да, разумеется, все это дело его рук. Но я увижу ее, я ее отыщу, и теперь, в его отсутствие, она наверное все мне расскажет. Ведь не забыла же она прежние времена, когда мы с ней, бывало, играли детьми; она не оттолкнет меня и теперь, она признает своего старого друга. Она всегда была доброй, прямой и честной натурой. Она любила меня в былые дни – и в этом моя сила, потому что, кто любил человека, тот никогда его не предаст».

И Гендон поспешно направился к двери. Но в эту минуту она отворилась снаружи, и на пороге показалась леди Эдифь. Она была все еще очень бледна, но ее грациозная, полная достоинства поступь была совершенно тверда и уверенна. Лицо было по-прежнему очень печально.

Повинуясь невольному порыву, Майльс бросился к ней, но она отстранила его чуть заметным движением руки, и он остановился, пригвожденный к месту. Она села и знаком, без слов и без объяснений, поставила его в положение совершенно чужого для себя человека, в положение обыкновенного гостя. Такой неожиданный поворот дела до того ошеломил его в первый момент, что он почти готов был усомниться, действительно ли он тот, кем считает себя.

– Я пришла предостеречь вас, сэр, – сказала леди Эдифь. – Сумасшедших нельзя разуверить в их бреднях – я это знаю, но и сумасшедшего можно заставить поверить, что ему угрожает опасность. Я убеждена, что вы искренне верите в ваши фантазии, и не считаю вас ни преступником, ни бесчестным обманщиком, но я прошу вас: уходите отсюда, потому что оставаться здесь для вас опасно. – Она подняла голову и, пристально поглядев ему в лицо, добавила с особым выражением:

– Тем более опасно, что вы в самом деле поразительно похожи на нашего бедного погибшего Майльса, то есть на то, чем был бы он теперь, если бы остался жив.

– Господи, да ведь я Майльс! Неужели вы действительно не узнаете меня?

– Я верю, сэр, что вы в этом убеждены, вполне верю вашей искренности; я только предостерегаю вас – вот и все. Мой муж – полный хозяин в нашем краю; власть его безгранична; люди здесь благоденствуют или мрут с голоду – как он захочет. Если бы еще не ваше несчастное сходство с человеком, за которого вы себя выдаете, мой муж, может быть, и предоставил бы вам ублажать себя вашими бреднями, но, верьте мне, я хорошо его знаю; я знаю, что он выдаст вас за сумасшедшего, за дерзкого самозванца, и все поголовно станут вторить ему, как эхо. – Она посмотрела на Майльса тем же внимательным взглядом и добавила:

– Будь вы даже действительно Майльсом Гендоном и знай он это, так же, как все остальные, – выслушайте меня внимательно, взвесьте хорошенько то, что я вам говорю, – вам и тогда бы грозила не меньшая опасность. Он не задумался бы отречься от вас, и ни у кого не хватило бы мужества за вас заступиться.

– Верю, вполне верю вам, – сказал с горечью Майльс. – Власть, которая может заставить человека забыть и предать друга детства, будет естественно всесильна над людьми, у которых на первом плане стоит вопрос о хлебе насущном – вопрос жизни и смерти, и для которых во всем этом не играют никакой роли ни дружба, ни любовь, ни чувство чести.

Слабый румянец проступил на щеках молодой женщины; она опустила глаза, но в голосе ее не было заметно волнения, когда она продолжала:

– Я сделала все, что могла, – я предостерегла вас и опять повторяю: бегите отсюда! Этот человек вас погубит. Он не знает ни жалости, ни пощады. Бедный Майльс и Артур, да и мой дорогой опекун, сэр Ричард, слава Богу, навеки избавились от него... да и для вас лучше бы было быть мертвым, чем попасть в когти к этому злодею. Вы посягнули на его права и на его титул – он этого никогда не простит, и, если вы останетесь, – вы

пропали. Бегите же, бегите немедленно. Если у вас нет денег, – прошу вас, возьмите мой кошелек, подкупите слуг, чтобы вас пропустили, и бегите. Спасайтесь, пока не поздно!..

Майльс оттолкнул протянутый кошелек, встал и сказал:

– Прошу вас об одной милости. Взгляните мне в лицо так, чтоб я мог видеть ваши глаза... Вот так. Теперь отвечайте: знаете вы меня?

– Нет, не знаю.

– Поклянитесь!

– Клянусь! – послышался тихий, но внятный ответ.

– Господи, это переходит границы всякой вероятности!

– Бегите, бегите скорей! Ради Бога, спасайтесь, пока есть еще время...

В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и началась жестокая свалка. Сила, разумеется, одолела, и Гендона потащили вон. Короля тоже схватили; обоих связали и повели в тюрьму.

## Глава XXVII

### В тюрьме

Все камеры в тюрьме были заняты, поэтому двух друзей приковали к стене в большой общей камере для незначительных преступников. Они попали в многолюдное общество: тут было человек двадцать арестантов обоего пола и разного возраста, закованных в кандалы, – буйная, циничная орда.

Король горько жаловался на оскорбление, нанесенное его королевскому достоинству; Гендон угрюмо молчал. Этот новый удар его ошеломил, да и не мудрено. Блудный сын возвращался домой сияющий, счастливый, мечтая о предстоящей радостной встрече, – и вдруг этот неожиданный холодный прием и тюрьма... Гендон и сам не мог решить, чего было больше во всем этом приключении – трагедии или самого грубого комизма, – до такой степени действительность обманула его ожидания. Он чувствовал почти то же, что должен чувствовать человек, беспечно вышедший полюбоваться радугой и пораженный ударом молнии. Но мало-помалу мысли его начали проясняться и вскоре всецело сосредоточились на Эдифи и ее странном, непонятном для него поведении. Он думал и передумывал об этом на все лады, но не мог прийти ни к какому мало-мальски утешительному выводу. Узнала она его или не узнала? Это был трудный вопрос, над которым он долго ломал голову. Наконец он решил, что она узнала его, но солгала из корыстных побуждений. Злоба душила его, у него готово было сорваться проклятие, но имя ее было так долго священным для него, что проклятие не шло с языка и сердце отказывалось повиноваться рассудку.

Завернувшись в грязные, рваные арестантские одеяла, Гендон и король провели тревожную ночь. Тюремщик за взятку, тайком, принес водки в общую камеру: слышались непристойные песни; поднялись брань, ссоры и драка. Наконец, уже за полночь, один арестант, поссорившись с какой-то женщиной, бросился на нее и чуть не убил ее кандалами. По счастью, тюремщик подоспел вовремя и навел порядок, оттузив провинившегося. После этого наступила относительная тишина и, пожалуй, можно было бы даже уснуть, если бы не стоны наказанного.

В продолжение всей последующей недели дни и ночи тянулись с томительным однообразием. Днем в камеру являлись какие-то люди

(Гендон мог более или менее отчетливо припомнить их лица) поглядеть «самозванца» и потешиться над ним, а по ночам неизменно шло пьянство, и в камере стоял шум от песен, криков и брани. Впрочем, в конце недели случилось происшествие, выходящее из ряда обыкновенных. В одно прекрасное утро тюремщик привел в камеру какого-то старика и сказал ему:

– Негодяй здесь; ну-ка, посмотрим, годятся ли на что-нибудь еще твои старые глаза: попытайся-ка, узнай мне его.

Гендон поднял голову, и в первый раз с того дня, как он сидел в тюрьме, в душе его шевельнулось что-то похожее на радость.

«Это Блэк Андриус, – подумал он, – старый батюшкин слуга, – честный, добрый старик; по крайней мере, был таким когда-то. Нынче, кажется, честные люди перевелись; остались одни негодяи. Конечно, и этот узнает меня, но отречется от меня, как и все остальные».

Старик обвел взглядом камеру, всматриваясь в каждое лицо, и наконец сказал:

– Да где же он? Я что-то не признаю его между этими разбойничьими харями.

Тюремщик захохотал.

– Ну, а посмотри-ка вот на этого долговязого молодца. Какого ты о нем мнения? – спросил он.

Старик подошел к Майльсу и долго всматривался в его лицо; потом покачал головой и сказал:

– Нет, это не Гендон, да никогда им и не был!

– Молодец старина! Видно, старые-то глаза еще служат тебе. Будь я на месте сэра Гуга, взял бы я эту собаку, да вот так бы его...

Тюремщик, не договорив фразы, приподнялся на цыпочки, как бы с воображаемой веревкой на шее, и издал горлом такой звук, как будто задышался.

– Да и то еще он должен бы был благодарить Господа Бога, что дешево отделался, – с негодованием добавил старик. – Кабы позволили мне распорядиться с этим мерзавцем, я бы изжарил его живьем, как честный человек.

Тюремщик разразился злорадным хохотом и сказал:

– Не хочешь ли с ним поболтать, старина, для забавы? Это можно. Я думаю, тебя это займет.

С этими словами он повернулся и вышел из камеры. Тогда старик упал на колени и прошептал:

– Благодарение Богу, ты вернулся, господин! А мы-то вот уже семь лет

считали тебя умершим. Я вас сразу узнал и чуть с ума не сошел от радости. Трудно мне было ломать комедию, притворяться, будто я не вижу здесь никого, кроме воров да разбойников. Я стар и беден, сэр Майльс, но скажите только слово, – и я всем расскажу всю правду-истину, хотя бы меня за это повесили.

– Нет-нет, не надо, – отвечал Гендон. – Только себе беду наживешь, а мне все равно не поможешь. Я и так благодарен тебе; ты возвратил мне утраченную веру в людей.

Старый слуга оказался очень полезным для Гендона и короля; он заходил в тюрьму ежедневно, а иногда и по два раза на дню, под предлогом потешиться над самозванцем, и всегда приносил им тайком разные лакомства в подкрепление к скудному тюремному пайку; он же снабжал узников текущими новостями. Лакомства Гендон приберегал для короля, который, пожалуй, и не выжил бы на скудной и грубой тюремной пище. Андрюс должен был ограничиваться весьма непродолжительными визитами, во избежание подозрений, но зато он всякий раз ухитрялся сообщать Гендону какую-нибудь интересную новость; новость обыкновенно передавалась шепотом вперемешку с громкими ругательствами и грубыми насмешками, предназначавшимися для других слушателей.

Таким образом, мало-помалу Гендон узнал все, что произошло в их семье в его отсутствие. Шесть лет тому назад умер Артур. Эта утрата, в соединении с полным отсутствием вестей о Майльсе, подорвала здоровье старика-отца. Чувствуя приближение смерти, он выразил желание при жизни устроить судьбу Эдифи и Гуга, то есть повенчать их. Эдифь долго не соглашалась, надеясь на возвращение Майльса, как вдруг пришло письмо с известием о его смерти. Этот новый удар доконал сэра Ричарда; теперь он был уверен, что конец его близок. Вместе с Гугом они приступили к Эдифи, требуя решительного ответа; но и тут ей удалось отсрочить свадьбу: сперва на месяц, потом на другой и на третий. Наконец свадьба-таки состоялась; молодых обвенчали у смертного одра сэра Ричарда. Брак оказался несчастным. Вскоре начали ходить слухи, будто после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа писанный его рукою черновик письма с известием о смерти Майльса и таким образом уличила его в обмане, который ускорил смерть сэра Ричарда. Говорили также, что муж очень дурно обращался с женою и со всеми домашними. Вообще, со смертью отца сэр Гуг сбросил личину и показал себя тем, чем он был в действительности, – жестоким, безжалостным деспотом ко всем, кто находился в зависимости от него.

Иной раз, случалось, старик Андрюс заговаривал о таких вещах, к

которым и король начинал прислушиваться с живым интересом.

– Ходят слухи, – сказал он однажды, – будто король помешался. Только, ради Бога, никому не говорите, что я вам это сказал. Говорят, за такие разговоры казнят.

Его Величество с негодованием посмотрел на старика и сказал:

– Король и не думал сходить с ума; а ты, милый друг, лучше бы сделал, если бы знал свое место и не путался в чужие дела, в которых ничего не смыслишь.

– Что такое приключилось с малым? О чем он толкует? – спросил Андриус, удивленный этим неожиданным нападением. Гендон сделал ему знак оставить мальчугана в покое, и старик продолжал:

– Покойного короля, говорят, через два дня будут хоронить в Виндзоре, – погребение назначено на 16-е этого месяца, – а новый король 20-го будет короноваться в Вестминстере.

– Не мешало бы им сперва его отыскать, – заметил Его Величество и добавил уверенным тоном, – впрочем они, разумеется, заранее примут все меры... да и я тоже.

– О чем это он, ради Бога? – снова начал было старик, но Гендон опять сделал ему знак оставить эту тему.

– Сэр Гуг собирается на коронацию, – продолжал старик свою болтовню, – он едет с большими надеждами. Говорят, надеется вернуться пэром; ведь он в большой чести у лорда-протектора.

– У какого лорда-протектора? – воскликнул король.

– У его светлости герцога Сомерсета.

– Какого герцога Сомерсета?

– Ах, батюшки! Да ведь он у нас один только и есть, – Сеймур, граф Гертфорд.

– С каких же пор он герцог, да еще лорд-протектор? – спросил король резко.

– С последнего дня января.

– Да кто же возвел его в этот сан?

– Надо полагать – он сам, с помощью Верховного Совета и с согласия короля.

Его Величество вздрогнул.

– Короля? – воскликнул он. – Какого короля, милый друг?

– Как какого? Господи Боже мой, и что это только приключилось с малым! Король у нас один, так что ответить нетрудно: с согласия Его Величества короля Эдуарда VI – храни его Господь! Да и какой же он у нас, говорят, красавчик, какой добрый! И безумный ли, нет ли (кто их там

разберет), а повсюду только и толков, что о его доброте; все в один голос благословляют его и молят Бога сохранить его на долгие годы на благо всей Англии. Он и царствование свое начал с милости – даровал жизнь нашему старому герцогу Норфольку, а теперь, говорят, хочет уничтожить жестокие законы, от которых так долго страдал его бедный народ.

Но Его Величество больше не слушал болтовню старика; он был сражен последним известием и погрузился в самые мрачные мысли. «Не может быть, чтоб этот «красавчик» был тот самый оборвыш, которого он тогда, во дворце, передел в свое платье... Не может быть, чтобы его речи, его манеры, его обращение не выдавали его, если бы ему даже и вздумалось назвать себя принцем Валлийским. И тогда его, конечно, прогнали бы и приняли бы все меры, чтобы разыскать пропавшего принца. А может быть и то, что вследствие придворных интриг на престол вместо него, законного короля, был возведен юноша знатного рода? Но нет, там был его дядя; он всемогущ и не допустил бы этого ни в коем случае: он бы пресек заговор в самом зародыше...» Размышления мальчика ни к чему не привели: чем больше он ломал голову над этой загадкой, тем больше становился в тупик; он заметно худел и бледнел, и сон его делался тревожнее. Его желание поскорее попасть в Лондон росло с каждым часом, и с каждым часом неволя становилась для него тяжелей.

Все старания Гендона успокоить короля были напрасны, но это удалось сделать двум женщинам, прикованным рядом с нашими друзьями. Их кроткие увещания принесли мир душе ребенка и научили его страдать терпеливо. Он был им за это глубоко благодарен и мало-помалу так полюбил их обеих, что их общество стало для него насущной потребностью и отрадой. Однажды, беседуя с ними, мальчик спросил, за что их посадили в тюрьму, и когда женщины объяснили, что они принадлежат к секте баптистов, он улыбнулся и сказал:

– Да разве это преступление? Разве за это сажают в тюрьму? Какая жалость! Значит, мы скоро расстанемся: верно, вас скоро освободят; не станут же вас долго держать за такую безделицу.

Женщины ничего не ответили, но в выражении их лиц промелькнуло что-то странное, встревожившее короля.

– Отчего вы молчите? – спросил он с живостью. – Неужели вас ждет еще другое наказание? Скажите правду, прошу вас, вам больше ничто не грозит? Ведь нет? Скажите, что нет!

Женщины пытались замять разговор, но не так-то легко было отделаться от взволнованного мальчугана.

– Неужели вас станут бить плетьюми? Нет, нет, они не могут быть



такими жестокими. Скажите же, скажите, что они не станут вас бить!..

Женщины пришли в сильное замешательство; но уклониться от ответа было нельзя, и одна из них сказала прерывающимся от волнения голосом:

– Не сокрушайся так, добрая душа! Господь поможет нам перенести нашу...

– Так, значит, они будут вас бить? – воскликнул король в страшном волнении. – Бесчеловечные негодяи!.. О, ради Бога, не плачьте, я не могу этого видеть! Мужайтесь, – я, может быть, еще успею спасти вас от этого ужаса. Я возвращу свои права и спасу вас, спасу!..

Поутру на другой день, когда король проснулся, женщин уже не было в камере. «Их освободили, – сказал он себе, и сердце его забилося от радости. – Зато каково-то теперь будет мне, – подумал он с грустью в следующую минуту. – Что я буду делать без них! Они были моим единственным утешением».

Обе женщины, уходя, прикололи к его платью по обрезку ленточки на память.

Мальчик дал себе слово сохранить эти ленточки и успокоился на том, что скоро он разыщет своих добрых утешительниц и возьмет их под свое покровительство.

Едва он успел это подумать, как в камеру вошел тюремщик со своими помощниками и приказал вести арестантов во двор. Король был в восторге: наконец-то он опять увидит синее небо, вдохнет полной грудью свежего воздуха! Как он сердился, в какое приходил нетерпение от медлительности тюремных служителей! Но наконец очередь дошла до него: его расковали, и он двинулся рядом с Гендоном, вслед за другими арестантами.

Квадратный двор, на который они вошли через массивные сводчатые ворота, был вымощен камнем; кругом тянулись высокие стены, и только сверху виднелся клочок неба. Арестантов выстроили в шеренгу по одной стороне двора; вдоль фронта натянули веревку, а по бокам расставили часовых. Было холодное, хмурое утро; выпавший за ночь легкий снежок покрывал все огромное голое пространство двора, придавая этому печальному месту еще более унылый и сумрачный вид. По временам поднимался порыв резкого, холодного ветра и крутил по двору столбы снега.

В самом центре большой квадратной площади двора стояли две женщины, прикованные к позорным столбам. Король содрогнулся: он с одного взгляда узнал своих верных друзей.

«Господи, их-таки будут наказывать, – подумал он, – а я-то воображал, что они на свободе. Неужели закон действительно наказывает плетью за

такую безделицу... и где же? – в Англии! Боже, какой позор! Все это совершается не у каких-нибудь дикарей, а в Англии, где живут христиане! Их будут бить плетью, а я, для которого они были утешением и поддержкой, – я должен на это смотреть и не могу их защитить! Нелепо, ужасно! Я – источник власти в этом огромном государстве – бессилен защитить обиженного. Но берегитесь, злодеи! Придет час, когда вы мне ответите за это злое дело... сторицей ответите за каждый удар, нанесенный этим несчастным!»

Большие ворота распахнулись, и во двор хлынула толпа зрителей-горожан. Они окружили двух женщин и скрыли их от глаз короля. Пришел священник и, протискавшись сквозь толпу, тоже скрылся. Кругом было очень шумно, зрители разговаривали между собой; слышались как будто вопросы и ответы, но король не мог разобрать, о чем говорили. Видно было, что там, у столбов, за толпой, происходила какая-то суматоха, шли какие-то приготовления; тюремные служители непрерывно шмыгали, то исчезая в толпе, то вновь откуда-то появляясь. Но вот говор мало-помалу умолк, и воцарилась глубокая тишина.

Толпа, как по команде, раздалась в стороны, – и зрелище, представшее глазам короля, оледенило кровь в его жилах. Вокруг столбов был разложен костер, и какой-то человек, стоя на коленях, поджигал его.

Осужденные стояли, низко склонив головы и закрыв руками лица. Хворост начал потрескивать; показались тоненькие струйки желтого пламени, от костра потянул синий дымок и, подхваченный ветром, застлал весь двор, точно туманом. Священник воздел руки к небу и начал читать молитву. В эту минуту в воротах показались две молодые девушки и с громким пронзительным криком бросились к осужденным. В один миг солдаты оттащили их прочь; одну крепко держали, но другая вырвалась, крича, что она хочет умереть вместе с матерью, и прежде, чем ее успели схватить, кинулась к одной из женщин и уцепилась за нее, обхватив ее шею. Ее опять оттащили, но платье на ней уже загорелось. Несколько человек держали ее, пока остальные тушили на ней пламя. Обе девушки с громкими воплями продолжали отчаянно отбиваться, как вдруг, покрывая весь этот шум, раздался громкий, мучительный крик – крик предсмертной агонии. Король взглянул на обезумевших девушек, взглянул на костер и, отвернувшись к стене помертвелым лицом, больше уже не глядел.

«То, что я видел в этот короткий миг, никогда не изгладится из моей памяти, – говорил он себе, – никогда, покуда я жив! Вечно, вечно будет стоять передо мной эта картина – и днем и ночью! Лучше бы мне было ослепнуть, чем видеть этот ужас!»

Тем временем Гендон наблюдал за ним.

«Рассудок к нему возвращается, – с радостью думал он. – Он очень изменился, стал гораздо мягче. Будь это раньше, как бы он развоевался при такой сцене! Всем бы досталось на орехи от бедного короля! Нет, видно, теперь он уже стал кое-что понимать; пожалуй, скоро и совсем выкинет из головы свои бредни! Дай-то Господи!»

В этот же день к вечеру в камеру наших друзей привели на ночь несколько человек новых арестантов, которых на следующее утро должны были разослать по разным местам для приведения в исполнение над ними приговоров. Король разговорился с ними (он с самого начала решил по возможности входить в близкие отношения с арестантами и не упускать ни одного удобного случая поучиться для исполнения своих будущих обязанностей главы государства), и то, что он услышал, чуть не заставило его сердце разорваться на части. Одна из новоприбывших была несчастная полоумная женщина, приговоренная к смертной казни за кражу у ткача двух-трех аршин сукна. Другой судился за кражу лошади; за неимением улики, он избегнул виселицы и был выпущен из тюрьмы, но не успел он очутиться на воле, как его поймали с поличным на охоте в королевском парке, и теперь он был на пути к виселице. Был тут, между прочим, один молодой подмастерье, чье дело особенно возмутило короля. Парень рассказывал, что однажды вечером он поймал сокола, улетевшего от хозяина, и принес его домой, не подозревая, что он совершает незаконный поступок. Его обвинили в краже, судили и приговорили к повешению.

Все эти рассказы привели короля в страшную ярость: он стал упрашивать Гендона разбить кандалы и бежать с ним из тюрьмы в Вестминстер, чтобы он мог успеть взойти на престол и спасти всех этих несчастных.

«Бедное дитя, – думал с грустью Гендон, – эти печальные рассказы опять свели его с ума. А я-то было надеялся, что он скоро поправится!»

В числе арестантов был один законовед – старик со строгим, суровым лицом. Три года тому назад он написал обличительную статью против лорда-канцлера, обвиняя его в несправедливости, и был жестоко наказан. Ему отрубили уши у позорного столба, исключили его из сословия, приговорили к уплате трех тысяч фунтов пени и к пожизненному заключению. Недавно он повторил свой проступок и был приговорен к лишению остатков ушей, наложению клейма на щеках и к уплате пени в пять тысяч фунтов, с оставлением в прежней силе первого приговора о пожизненном заключении.

Это почетные шрамы, – закончил старик свой рассказ и, откинув свои

седые волосы, показал обезображенные места, где когда-то у него были уши. Глаза короля загорелись гневом.

– Никто мне не верит, – сказал он, – не поверишь и ты. А все-таки не пройдет и месяца, как ты будешь свободен. Мало того: законы, опозорившие не только тебя, но и Англию, будут вычеркнуты из свода законов. На свете все идет наыворот. Королям следовало бы заглядывать иногда в законы, которые они издают: это научило бы их милосердию.

## Глава XXVIII

### Жертва

Время шло, и Майльс все больше и больше тяготился неволей и бездействием. Но вот, к великой его радости, назначили разбирательство его дела. Ему казалось, что он будет рад всякому приговору, лишь бы не это томительное сиденье в тюрьме. Но он жестоко ошибся. Выслушав приговор, он пришел в страшную ярость. Суд признал его «опасным бродягой» и приговорил выставить на два часа к позорному столбу за оскорбление владельца Гендон-Голла. Его притязания на близкое родство с обвинителем, на наследственный титул и поместья были оставлены без последствий, как не стоящие внимания.

Когда его вели на площадь для исполнения приговора, он бушевал и грозил, но это привело только к тому, что конвоировавшие его солдаты отколотили его за строптивость.

Король не мог пробраться сквозь толпу, окружавшую его верного друга, и принужден был следовать за ним в отдалении. Его и самого чуть было не приговорили к позорному столбу за то, что он водился с такими негодьями, но потом, принимая во внимание его молодость, отпустили, ограничившись строгим внушением. Когда наконец толпа остановилась на площади, мальчик в лихорадочном волнении начал бегать кругом, отыскивая лазейку, чтобы пробраться поближе к своему другу. После довольно продолжительных безуспешных попыток это ему удалось. О ужас! Он увидел своего бедного рыцаря привязанным к позорному столбу. Грязная чернь потешалась над ним – над верным слугой короля Англии! Эдуард слышал приговор, но и наполовину не понял его значения. Гнев его разгорался по мере того, как он начинал понимать всю глубину этого нового оскорбления, нанесенного его королевскому сану. Вдруг он увидел, как в воздухе промелькнуло яйцо и сплоснулось, ударившись о щеку Гендона; толпа встретила этот эпизод радостным хохотом. Король рванулся вперед и с яростью крикнул ближайшему из солдат:

– Стыдитесь! Это мой верный слуга. Сейчас же отпустите его! Осмелюсь только послушаться коро...

– Молчи, ради Бога, молчи! Ты губишь себя! – с ужасом воскликнул Гендон. – Не слушай его, братец, не обращай на него внимания, – он сумасшедший!

– Не беспокойся, приятель, я и то не очень-то его слушаю; ну, а проучить его на будущее время я, пожалуй, не прочь. – И, обернувшись к одному из своих подчиненных, солдат сказал: – Стегни-ка раза два плетью этого дурачка: надо поучить его хорошим манерам.

– Всыпьте уж лучше полдюжины: крепче будет, – посоветовал сэр Гут, подъехавший в эту минуту к площади взглянуть, что там происходит.

Короля схватили. Он даже не сопротивлялся – до такой степени ошеломила его одна мысль о чудовищном оскорблении, грозившем его священной особе. На страницы английской истории уже была занесена повесть о том, как английского короля стегали плетью, и мальчик не мог без ужаса представить себе, что этот позорный случай мог повториться и с ним. Вот когда пришла настоящая беда! Помощи ждать неоткуда: приходилось или вынести наказание, или молить о пощаде. Нет, уж лучше покориться: король может вытерпеть боль, но он не может просить.

Тут Майльс разрешил затруднение:

– Отпустите ребенка, жестокосердные негодяи! – воскликнул он с гневом. – Разве вы не видите, как он мал и слаб? Отпустите его, я беру его наказание на себя.

– Вот и прекрасно, чудесная мысль, – сказал сэр Гут, и лицо его загорелось злобной радостью. – Отпустите мальчишку, да насыпьте дюжину горяченьких этому молодцу, полную дюжину: не ошибитесь в счете.

Король готов был уже выступить с горячим протестом, но сэр Гут заткнул ему рот, сказав:

– Хорошо, хорошо, поговори, отведи свою душу; но знай – за каждое твое слово ему прибавят еще по полдюжине.

Гендона отвязали от столба, обнажили ему спину, и пока наказание шло своим чередом, бедный маленький король стоял, отвернувшись и проливая горькие слезы, совсем не соответствовавшие его королевскому сану.

«Добрая, честная душа! – думал он. – Твой благородный поступок никогда не изгладится из моей памяти. Я никогда тебе этого не забуду... да и им также», – добавил он с яростью. И по мере того, как проходили томительные минуты, поступок Гендона все вырастал в глазах короля, а вместе с тем росла и его благодарность. «Тот, кто спасает своего государя от смерти, – а он это сделал для меня, – оказывает своей стране неоценимую услугу; но это пустяки, сущий вздор, – ничто в сравнении с услугой того, кто спасает короля от позора!»

Гендон не пикнул под тяжелыми ударами плети и выдержал наказание с истинно солдатской стойкостью. Эта стойкость, в соединении с

великодушным его самопожертвованием по отношению к мальчику, возбудили невольное к нему уважение даже в этой разнузданной толпе. Насмешки и крики мало-помалу затихли, и не стало слышно ничего, кроме ударов плети. Глубокая тишина, не прерывавшаяся и тогда, когда Гендона опять привязали к позорному столбу, представляла резкий контраст с оскорбительным гвалтом, царившим за несколько минут перед тем. Король тихонько подошел к своему другу и шепнул ему на ухо:

– Короли не властны возвеличить тебя, великая, добрая душа, ибо ты уже возвеличен Тем, кто выше всех королей; но король может отличить тебя перед людьми. – И, подняв с земли плеть, мальчик нежно коснулся ею окровавленных плеч Гендона и прошептал: «Эдуард, король Англии, жалует тебя графом!»

Гендон был тронут до глубины души. Слезы выступили у него на глазах; но в то же время ему так ясно представилась вся смешная сторона его положения, что он с трудом подавил улыбку. Быть обнаженным, привязанным к позорному столбу на потеху черни и непосредственно от плетей вознестись на недостижимую высоту графского достоинства, – могло ли быть что-либо комичнее этого?

«Ну, теперь я, кажется, награжден свыше меры, – говорил он себе. – Из рыцарей царства грез и теней попал в призрачные графы! Головокружительный полет для такой безкрылой птицы, как я... Если это и дальше будет так продолжаться, я скоро превращусь в настоящий призовой шест, обвешенный побрякушками. Но я буду все-таки ценить мои воображаемые почести из любви к тому, кто меня ими осыпает. Воображаемые почести, которых мы не выпрашивали и когда они исходят от верного сердца и честной руки, – по-моему, дороже настоящих, купленных ценою лести и унижения перед великими мира сего».

Грозный сэр Гуг повернул коня и ускакал прочь; живая стена безмолвно перед ним расступилась и так же безмолвно сомкнулась за ним. Даже и теперь никто не решался замолвить слово за бедного узника или выразить ему свое сочувствие; но все равно: царившая на площади могильная тишина была уже сама по себе достаточным выражением сочувствия и уважения. Один запоздалый зритель, явившийся к концу наказания и не видевший того, что происходило вначале, попробовал было пройти насчет «самозванца» и бросил в него дохлой кошкой; но его без дальних разговоров сбили с ног и отколотили, после чего на площади опять воцарилось гробовое молчание.

## Глава XXIX

### В Лондон

Когда кончился срок наказания, Гендона отвязали от позорного столба и отпустили на свободу с приказанием немедленно уехать и никогда больше не возвращаться. Ему отдали его шпагу, мула и осла. Он сел верхом и уехал в сопровождении короля. Толпа расступилась в почтительном безмолвии, давая им дорогу, и так же безмолвно разошлась, когда они скрылись из виду.

Гендон углубился в свои думы. Ему нужно было разрешить важные вопросы. Что делать? Куда обратиться за помощью? А помощь была необходима, и притом помощь влиятельного лица, иначе ему придется навсегда отказаться от своих наследственных прав и вдобавок прослыть дерзким обманщиком. Но где же она – эта помощь? Где ее искать? Да, было над чем призадуматься. Гендон ломал голову, стараясь разрешить этот вопрос, как вдруг у него мелькнула одна мысль, подавшая некоторую надежду на успех, – надежду, правда, весьма слабую и сомнительную, но за неимением лучшего и то было уже счастье. Он вспомнил рассказы старика Андрюса о необыкновенной доброте молодого короля и о его благородном заступничестве за всех угнетенных. Почему бы ему не попытаться проникнуть к самому королю? Он мог бы просить его о правосудии... Да, это хорошо – спору нет, но может ли бедняк-оборванец добиться аудиенции у монарха? Впрочем, не стоит об этом думать пока – только понапрасну ломать себе голову. Надо действовать, а там будет видно. Он, Гендон, старый солдат, выдавший всякие виды; он сумеет как-нибудь извернуться. Теперь ясно одно: надо ехать в столицу.

«Может быть, мне поможет сэр Гумфри Марло, старый друг отца, – добрый старик сэр Гумфри, главный смотритель царских кухонь, или конюшен, или чего-то в этом роде». Майльс не мог припомнить, чего именно. Теперь, когда у него была впереди определенная цель, энергия проснулась в его душе с прежней силой; недавнего уныния как не бывало. Он поднял голову и оглянулся кругом. Он удивился, как далеко они успели отъехать, – деревня чуть виднелась за ними. Король трусил рысцей на своем ослике, низко опустив голову; и он тоже был углублен в свои думы. Одно тяжелое сомнение заставило Гендона опять приуныть, когда он взглянул на ребенка: а что как мальчуган не захочет ехать в город, с



которым у него связано столько горьких воспоминаний, где за свою короткую жизнь он не знал ничего, кроме тяжелой нужды да побоев? Но так или нет, этот вопрос должен быть решен: его нельзя обойти. И Гендон пришпорил мула и, поравнявшись со своим спутником, сказал:

– Чуть было не забыл спросить, куда мы держим путь, государь?

– В Лондон!

Гендон поехал дальше, как нельзя более довольный этим ответом, хотя и недоумевал, чем его объяснить.

Путешествие в Лондон совершилось вполне благополучно, но закончилось одним маленьким приключением. 19 февраля, около десяти часов вечера, наши друзья въехали на Лондонский мост и очутились среди ревущей и гогочущей пьяной толпы; багровые, искаженные лица резко выступали при ярком свете многочисленных факелов. Как раз в ту минуту, когда путешественники въезжали в ворота, сверху сорвалась полуразложившаяся голова какого-то бывшего герцога или, быть может, другого знатного вельможи и, ударившись о локоть Гендона, отскочила в толпу. Вот как недолговечны в этом мире дела рук человеческих! Прошло всего три недели со дня смерти доброго короля Генриха, не прошло и трех суток со дня его похорон, а благородные украшения<sup>[2]</sup>, которые он так старательно выбирал для своего великолепного моста между первыми лицами в государстве, уже начали падать... Кто-то из толпы, споткнувшись об упавшую голову, ударился собственной головой о спину стоявшего впереди. Тот обернулся и свалил с ног кулаком первого подвернувшегося под руку соседа. Товарищ упавшего, не долго думая, дал за него сдачи, – и пошла потеха.

Время для драки было самое подходящее. На завтра была назначена коронация, и празднество уже началось; все были пьяны и от вина, и от патриотических чувств. Не прошло и пяти минут, как драка захватила уже довольно большое пространство. Еще минут десять – и она превратилась в общую свалку. Бушующая, ревущая чернь оттерла Гендона от короля, и вскоре они безнадежно потеряли друг друга из виду. Расстанемся и мы с ними пока.

## Глава XXX

### Успехи Тома

В то время как настоящий король скитался по своим владениям, оборванный и голодный, выносил издевательства и побои от бродяг, сидел в тюрьме с ворами и убийцами, – в то время как все и каждый принимали его за помешанного или за обманщика, – другой – мнимый король, Том Канти, – жил совершенно иной жизнью.

В последний раз, когда мы его видели, он только начинал ценить блестящую сторону своего положения. С каждым днем этот блеск становился все лучезарнее в его глазах и наконец превратился в ослепительное сияние, наполнявшее его душу восторгом. Все его страхи как рукой сняло; сомнения исчезли; чувство неловкости сменилось самоуверенностью и развязностью. Короче говоря, Том сумел как нельзя лучше воспользоваться уроками маленького Гумфри.

Теперь, когда ему хотелось поболтать или поиграть, он совершенно спокойно приказывал позвать леди Елизавету и леди Дженни Грей и так же спокойно отпускал их, нимало не смущаясь, когда эти высокопоставленные особы прикладывались к его руке на прощанье.

Он начинал входить во вкус торжественной процедуры укладывания в постель и вставания по утрам, с ее многосложным церемониалом облачения; он испытывал самолюбивое удовольствие, шествуя к обеду в сопровождении блестящей свиты вельмож и офицеров, – такое живое и сильное удовольствие, что по его повелению число его телохранителей было увеличено до сотни. Ему нравились торжественно разносившиеся по длинным коридорам звуки труб и рожков и гул голосов при его появлении: «Дорогу королю!»

Не без удовольствия являлся он даже в совет, где, заседаая на своем пышном троне, старался казаться кое-чем побольше простого автомата, повторяющего слова за лордом-протектором.

Ему нравилось принимать иностранных послов с пышной свитой, нравилось выслушивать дружеские письма от монархов великих держав, которые называли его своим «братом». Что за счастливый мальчик этот Том Канти из Оффаль-Корда!

Он любил теперь роскошные наряды и заказывал их целыми дюжинами; четырехсот человек слуг оказывалось уже недостаточно для его

королевского величия, и он утроил это число. Льстивые речи угодливых царедворцев звучали в его ушах, как сладкая музыка. Правда, он был по-прежнему добрым и мягким ребенком, он храбро и решительно заступался за всех угнетенных и вел неутомимую войну против несправедливых законов; но теперь он уже умел при случае оборвать любого графа и даже герцога, умел, когда находил это нужным, одарить человека взглядом, заставлявшим его трепетать. Однажды, когда его царственная «сестра», суровая святоша принцесса Мария, попробовала было прочесть ему нравоучение по поводу его неразумной слабости и вздумала его упрекать за то, что он помиловал столько людей, заслуживавших тюрьмы, костра или виселицы, приводя в пример великое царствование их августейшего родителя, при котором в тюрьмах содержалось до шестидесяти тысяч преступников и было казнено около семидесяти тысяч воров и разбойников, – мальчик закипел благородным негодованием, сказал, что у нее в груди не сердце, а камень, и приказал ей идти в свою комнату и помолиться Богу, чтоб он дал ей человеческое сердце.

Но неужели Тома Канти никогда не мучило воспоминание о бедном законном маленьком принце, который был так добр к оборванцу-нищему и с таким благородным пылом бросился защищать его от дерзкого часового? Нет, этого нельзя сказать: первое время и дни и ночи Тома были отравлены тягостными думами о пропавшем; он искренне жаждал его возвращения и мечтал о восстановлении его в его законных правах. Но время шло, а законный принц не являлся. Том с каждым днем все больше и больше увлекался новым сказочным миром, который его окружал, и мало-помалу образ пропавшего стал тускнеть и наконец почти совсем изгладился из его памяти; теперь этот образ только изредка тревожил его, приходя к нему в виде незваного гостя, появление которого было связано для него с упреками совести и стыдом.

Та же самая участь – участь забвения – постигла и его бедную мать и сестер. Вначале он сильно по ним тосковал и жаждал их видеть, но потом одна мысль о том, что в один прекрасный день они могут явиться к нему в своих грязных лохмотьях, выдать его своими поцелуями и столкнуть с высоты в прежнюю грязь и горькую нищету, – одна эта мысль приводила его в трепет. Кончилось тем, что и это воспоминание перестало смущать его душу. И он был этому рад, даже счастлив, ибо теперь всякий раз, как перед ним воскресали их знакомые лица, исполненные упрека и грусти, он чувствовал себя презренным, пресмыкающимся гадом, – презреннее червя земного.

19 февраля, в полночь, Том Канти, охраняемый своими верными

вассалами, окруженный царскою роскошью, спокойно засыпал во дворце, в своей богатой постели. Счастливый мальчик! На завтра назначена коронация; завтра он будет королем Англии. В этот самый час Эдуард – законный король, – голодный, усталый, промокший и продрогший, в лохмотьях и покрытый синяками, – последствия уличной свалки, в которую он попал, – был увлечен толпой к тому месту возле Вестминстерского аббатства, где другая огромная толпа зевала и глазела на спящих назад и вперед рабочих: трудолюбивые, как муравьи, они наскоро заканчивали приготовления к предстоящей коронации.

## Глава XXXI

### Коронационное шествие

Утром, когда Том Канти проснулся, воздух дрожал от какого-то смутного отдаленного гула. Для Тома это была сладкая музыка: он понял, что весь его народ высыпал на улицы приветствовать великий день.

И вот ему пришлось еще раз сыграть главную роль в волшебной плавучей процессии на Темзе, ибо по древнему обычаю «коронационная процессия» должна была пройти через весь Лондон, начиная от Тауэра, куда Тому и предстояло отправиться прежде всего.

Когда он подъехал к Тауэру, величественные стены почтенной старой крепости как будто разом треснули в тысяче мест и из каждой трещины выскочил огненный красный язык и белый клуб дыма; вслед затем раздался оглушительный залп, в котором на миг потонули крики толпы и от которого земля задрожала. Взрывы пламени, клубы дыма и пушечные залпы следовали один за другим с такой изумительной быстротой, что в несколько мгновений весь старый Тауэр исчез в густой мгле дыма, и только одна его верхушка – так называемая Белая башня, – разубранная пестрыми флагами, одиноко всплыла над белым туманом, точно горная вершина над облаками. Том Канти, в роскошном наряде, ехал впереди на великолепном статном боевом коне, покрытом богатым вальтрапом, ниспадавшим почти до земли; следом за ним, также верхом, ехал его «дядя» лорд-протектор герцог Сомерсет; вдоль дороги по обе стороны тянулись две шеренги солдат королевской гвардии, в светлых блестящих латах; за лордом-протектором следовала нескончаемая вереница нарядных вельмож с их вассалами; за ними ехали лорд-мэр со своею свитою альдерменов в пунцовых бархатных мантиях с золотыми цепями на груди, а дальше тянулись депутации от всех лондонских гильдий, в богатых нарядах, с красивыми пестрыми знаменами различных корпораций. Шествие замыкала почетная артиллерийская рота, которая уже в то время насчитывала три века своего существования, – единственное войско в Англии, пользовавшееся привилегией (которой оно пользуется и по сей день) – привилегий независимости от распоряжений парламента. Эта рота принимала участие в церемониях лишь в особо торжественных случаях. Чудное зрелище представляла пышная процессия, торжественно подвигаясь при громких криках восторга, среди несметной толпы граждан, образовавших по бокам ее две сплошные живые стены.

Вот как рассказывает об этом коронационном торжестве летописец:

«При въезде короля в город народ встретил его приветственными криками, молитвами, благопожеланиями и другими изъявлениями искренней любви подданных к своему государю; и король, повернувшись к толпе с сияющим радостью лицом и милостиво беседуя с теми, кто был ближе к его августейшей особе, с избытком вознаграждал свой народ за его верноподданные чувства. В ответ на крики: «Долгие лета королю Англии!» – «Да сохранит Господь Его Величество Эдуарда VI!» – он говорил благосклонно: «Храни Господь всех вас! От всего сердца благодарю мой добрый народ!» Милостивые слова и ласковое обращение молодого монарха вызвали целую бурю восторга; все сердца были наполнены неопишуемой радостью».

В Фенчерч-стрит «прекрасное дитя в богатом костюме» встретило короля, стоя на устроенной для этой цели эстраде и приветствуя его от лица города стихами:

Привет тебе, король и повелитель!  
Тебя лишь славить может наш язык,  
И молим мы, воскресши вновь сердцами,  
Да охранит тебя Господь навек.

Народ разразился бурным криком восторга; все в один голос повторили за ребенком последнюю строчку стихов. Том Канти взглянул на волнующееся море этих сияющих лиц, и сердце его забилося от счастья; он почувствовал всем своим существом, что если стоило жить, так только для того, чтобы быть королем, идиолом народа... Вдруг он увидел в толпе двух мальчишек-оборванцев, в которых он сразу узнал своих бывших оффалькордских товарищей. Один еще недавно исполнял должность генерал-адмирала при его фантастическом дворе, другой изображал чуть ли не самого лорда-канцлера. Боже, какую гордостью наполнилось сердце Тома! Ах, если бы они могли его узнать! Если бы могли воочию убедиться, что их «как будто» король – король задних дворов и мусорных ям, – стал настоящим королем – могущественным властелином, которому прислуживают знатнейшие вельможи, у ног которого вся Англия. Но, разумеется, Том это только подумал; осуществление его желания обошлось бы дороже того удовольствия, которое оно могло ему принести. И он спокойно отвернулся, предоставив двум оборванцам кричать и неистовствовать в полном неведении, кого они так усердно чествуют.

– Да здравствует Эдуард VI, король Англии! – ревела толпа, и Том отвечал на этот восторженный крик, разбрасывая направо и налево полные пригоршни новеньких блестящих монет.

Вот подлинные слова летописца:

«В конце Грэс-Черч-стрит город построил роскошную триумфальную арку; под аркой, поперек всей улицы, возвышалась эстрада в три яруса, а на ней была поставлена большая историческая картина, изображавшая ближайших предков нового короля. Внизу, из середины огромной белой розы, выступала сидящая фигура королевы Елизаветы Йоркской; лепестки цветка ложились вокруг нее замысловатыми фестонами. Рядом, в гигантской чашечке такой же, но только алой, розы сидел Генрих VII. Руки королевской четы были соединены, и обручальные кольца бросались в глаза своим блеском. От этих двух роз шел кверху стебель, заканчивавшийся во втором ярусе эстрады третьей розой, алой с белым, которая служила подножием двум сидящим фигурам – Генриха VIII и матери молодого короля Иоанны Сеймур. От этой четы шел новый стебель к третьему ярусу, где восседал на троне во всем блеске своего сана сам Эдуард VI. Вся картина была убрана гирляндами из белых и алых роз».

Это оригинальное, волшебное зрелище возбудило такой энтузиазм в опьяневшей от восторга толпе, что ее ликующий рев совершенно заглушил тоненький голосок ребенка, на обязанности которого лежало объяснять смысл картины в хвалебных стихах. Но Тома Канти последнее обстоятельство ничуть не огорчило: этот взрыв народного энтузиазма был для него теперь слаще всякой музыки, хотя бы даже музыки самых чудных стихов. Он повернулся к народу своим счастливым юным личиком, и толпа, пораженная его сходством с изображением на картине, разразилась новой бурей приветствий и радостных криков.

Блестящая процессия продвигалась вперед, минуя одну за другой бесчисленные триумфальные арки и прекрасные символические картины, из которых каждая изображала и прославляла какую-нибудь добродетель, талант или заслугу маленького короля.

По всему Чипсайду, в каждом окне, на каждой крыше, развевались красивые флаги; все стены были затянуты богатыми коврами, шелковым штофом и золотой парчой – образчиками сокровищ, хранившихся в домах. С неменьшим великолепием были разубраны и остальные улицы, а некоторые богатством и роскошью своего убранства даже затмевали Чипсайд.

«И все это волшебство – для меня!» – думал Том Канти.

Щеки мнимого короля пылали от волнения, глаза сияли восторгом; он

утопал в блаженстве. Он поднял было руку, собираясь бросить в народ новую пригоршню монет, как вдруг взгляд его упал на бледное, искаженное лицо, уставившееся на него из толпы широко раскрытыми, остановившимися глазами. Сердце мальчика больно сжалось: он узнал свою мать! Невольным, привычным с детства движением он прикрыл глаза рукой ладонью наружу. В тот же миг она прорвалась сквозь толпу, сквозь ряды телохранителей, бросилась к нему и, обхватив его ногу, стала покрывать его поцелуями. С криком: «Дитя мое, дорогой мой сынок!» – она подняла к нему свое омоченное слезами, преображенное радостью и любовью лицо. Но тут один из солдат оттащил ее прочь с грубым ругательством и так сильно толкнул, что она упала. У Тома уже вертелось на языке: «Я не знаю этой женщины. Чего ей от меня надо?» – когда своевременная расправа солдата избавила его от ответа. Однако сердце его заныло от жалости, когда он увидел, как грубо обошлись с его матерью; и когда она поднялась на ноги и обернулась взглянуть на него на прощанье, перед тем как толпа скрыла ее от его глаз, – она показалась ему такой жалкой, такой несчастной, что все его тщеславие краденым величием разлетелось в прах, потонув в глубоком чувстве стыда. Заманчивая прелесть этого величия потеряла в его глазах всякую цену; волшебные чары почета и блеска спали с его души, как истлевшая ветошь.

Процессия продвигалась вперед и вперед, среди все возрастающего великолепия и бури приветственных криков, но для Тома Канти ничего этого уже не существовало: он ничего не видел и не слышал. Весь царственный блеск потерял для него свою привлекательность; ликующие возгласы народа звучали упреком в его душе. «Господи, хоть бы мне вырваться из этой неволи!» – говорил он себе, бессознательно возвращаясь к мыслям и чувствам первых дней своего пребывания во дворце.

Тем временем блестящее шествие достигло извилистых улиц старого Сити и двигалось по ним сверкающей бесконечной змеей. Всеобщее ликование достигло своего апогея, но король по-прежнему ничего не видел и не слышал; он ехал, опустив голову, потупив взор, перед которым неотступно стояло бледное, несчастное лицо его матери.

– Да здравствует Эдуард, король Англии! – ревела толпа, и земля дрожала от этого крика. Но король не отвечал. Весь этот оглушительный шум доносился до него как будто издалека, как доносится отдаленный прибой морских волн. Он заглушался голосом, звучавшим в его груди, – громким голосом его возмущенной совести, неустанно повторявшим постыдные слова: «Я не знаю этой женщины. Что ей надо?»

Эти слова отдавались в душе короля, как отдается звон погребального



колокола в душе человека, пережившего близкого друга, которому при его жизни он вероломно изменил.

С каждым поворотом улицы открывались все новые и новые чудеса, новое великолепие, новые волшебные зрелища; издали доносились глухие залпы орудий и крики ожидающей толпы; но король ничего не видел, ничего не слышал, кроме обличительного голоса, не перестававшего звучать в его смятенной душе.

Мало-помалу радость, освещавшая лица народа, омрачилась легким облачком заботы и тревоги; ликующие возгласы стали заметно слабеть, почувствовалось какое-то напряжение и уныние. Все эти неприятные признаки не ускользнули от лорда-протектора, который тотчас отгадал их причину и не замедлил принять меры. Пришпорив коня, он поравнялся с королем, обнажил голову, почтительно изогнувшись в седле, и шепнул:

– Ваше Величество, теперь не время задумываться. Народ видит вашу поникшую голову, ваш сумрачный взор и принимает это за дурное предзнаменование. Послушайтесь моего совета, государь: поднимите голову, улыбнитесь народу, и лучи ясного солнышка не замедлят разогнать собирающиеся мрачные тучи.

Проговорив это, герцог бросил в толпу несколько пригоршней монет и отъехал на свое место. Мнимый король машинально исполнил то, что ему сказали: он поднял голову и улыбнулся, хотя в улыбке его не было жизни. Но лишь у немногих хватило проницательности это заметить. Каждое движение украшенной перьями царственной головки, благосклонно кивавшей подданным, было исполнено грации и величия; дары, которые король рассыпал направо и налево, отличались царской щедростью, и этого было довольно: недавней тревоги как не бывало, и новые восторженные крики потрясли воздух с оглушительной силой.

Однако перед самым концом блестящего шествия светлейший герцог был принужден повторить свое внушение:

– Великий государь, – шепнул он опять, – стряхните вашу роковую печаль; глаза всего народа устремлены на Вас... Черт бы побрал эту проклятую нищую. Это она так расстроила Ваше Величество, – добавил он с досадой.

Нарядный ребенок посмотрел на герцога потухшими глазами и вымолвил безжизненным голосом:

– Это была моя мать!

«Господи! – простонал лорд-протектор, осаживая своего коня на прежнее место. – Дурное предзнаменование, как видно, сбывается: он опять помешался!»

## Глава XXXII

### Коронация

Вернемся назад на несколько часов и займем место в Вестминстерском аббатстве, в четыре часа утра, в достопамятный день коронации. Мы окажемся здесь не одни, ибо хотя на дворе еще ночь, но галереи собора уже освещены факелами и битком набиты народом. Публика просидит здесь часов семь-восемь подряд, лишь бы увидеть зрелище, которое едва ли можно надеяться увидеть два раза в жизни, а именно коронацию короля. Лондон и Вестминстер поднялись на ноги с трех часов ночи, с первым пушечным залпом, и богатые, но не знатные граждане уже толпятся у входов в галереи, за огромные деньги добиваясь мест, предназначенных для людей их звания.

Время тянется томительно долго. Суматоха мало-помалу стихает, потому что все галереи уже переполнены. Теперь мы можем сидеть и наблюдать без помехи. Со всех сторон, куда ни бросишь взгляд, из полумрака, царящего в соборе, выступают галереи и балконы, битком набитые публикой; другие заслонены от глаз колоннами и выступами. Нам видна вся огромная северная галерея – покамест пустая в ожидании привилегированной публики. Мы можем также видеть широкую эстраду, затянутую богатыми тканями. На этой эстраде, посередине, стоит трон на возвышении в четыре ступени. В сиденье трона вделана большая плита неотесанного камня. Много поколений шотландских королей короновалось на этом камне; время освятило его, так что теперь на нем коронуются английские короли. Весь трон и его подножие затянуты золотой парчой.

В соборе царит тишина, факелы тускло мерцают, время ползет черепашью шагом. Но вот наконец и заря; факелы погасили, и бледный утренний свет наполняет пространство. Теперь можно уже различить все очертания величественного здания, но при свете наступившего облачного дня они кажутся смутными, как будто подернутыми дымкой.

Бьет семь часов, и это сонное однообразие в первый раз прерывается: приезжает первая знатная леди и появляется в северной галерее; богатством наряда она может поспорить с самим Соломоном. Царедворец, весь в бархате и шелке, провожает ее к ее месту, а за ним идет другой джентльмен – двойник первого по костюму; он несет длинный шлейф знатной леди и, когда она садится на свое место, укладывает шлейф ей на колени; затем

ставит ей под ноги скамеечку и кладет ее коронку так, чтобы она была у нее под рукой, когда настанет минута одновременного возложения корон на головы знатных особ.

Вслед за первою леди являются вторая и третья – целая вереница блистательных дам; нарядные царедворцы снуют и мелькают, рассаживая их по местам и прилагая все старания, чтобы устроить их поудобнее. Повсюду жизнь и движение, повсюду яркие краски. Но мало-помалу суматоха стихает, и воцаряется прежняя тишина. Вся знать уже съехалась, все дамы сидят по местам, – огромный пестрый цветник, усеянный бриллиантами, как Млечный путь – звездами. Тут перед вами все возрасты: есть вдовы – старухи, сморщенные, желтые и седые как лунь, – чуть не столетние, которые помнят коронацию Ричарда III и те смутные, давно забытые времена; есть и красивые пожилые дамы, и прелестные молоденькие женщины; есть и хорошенькие девушки с блестящими глазками и свежими щечками; легко может случиться, что они даже не сумеют надеть своих усыпанных алмазами коронок, когда придет великая минута: для них это дело новое, и справиться с волнением им будет нелегко. Впрочем, нет, – мы шутим, – этого не может случиться, ибо у всех этих дам прическа нарочно устроена таким образом, чтобы можно было по первому сигналу быстро и безошибочно посадить коронку на надлежащее место.

Мы уже видели, что блестящие ряды знатных леди усыпаны бриллиантами, и могли оценить это волшебное зрелище. Но сейчас мы увидим нечто еще более изумительное. Часов около девяти из туч проглядывает яркое солнышко, и ослепительный луч, ворвавшись в окна, тихо скользит по рядам разодетых леди. Бриллианты и самоцветные камни загораются всеми цветами радуги. Мы вздрагиваем от неожиданности, как от электрического удара: трепет восторга пробегает по нашим жилам.

Вот появляются иностранные послы со своими блестящими свитами, и в их числе один посол откуда-то с Востока. Луч солнца скользя задевает его... У зрителей останавливается дыхание – так ослепителен блеск, который он разливает вокруг: с ног до головы он весь осыпан драгоценными камнями и при малейшем его движении от него рассыпается целый дождь сверкающих искр.

Но перейдем к форме прошедшего времени для большего удобства. Прошел час, два часа, два с половиной. Наконец первый пушечный залп и громкие крики народа возвестили, что король с процессией прибыли. Каждый знал, что придется подождать, так как короля надлежало облачить для торжественной церемонии; но все знали также, что это время пройдет незаметно в созерцании интересного зрелища – торжественного выхода

пэров в парадных костюмах. Пэров рассадили по местам с подобающим церемониалом и подле каждого положили его корону. Публика на галереях следила за этой процедурой с живейшим интересом, ибо многие в первый раз в жизни видели всех этих герцогов, графов и баронов, чьи имена были известны в истории пятьсот лет тому назад. Когда все уселись, с галереи открылось поистине невиданное зрелище, которое кто видел раз, то уже не забудет никогда.

Теперь на сцене появилось высшее духовенство в полном облачении и в митрах, с многочисленным причтом в хвосте; один за другим они вошли на эстраду и заняли места; за ними вошел лорд-протектор с другими приближенными вельможами и, наконец, отряд лейб-гвардейцев в стальных латах.

Наступила минута напряженного ожидания; затем, по данному сигналу, музыканты заиграли торжественный гимн; в дверях показался Том Канти, в длинной мантии из золотой парчи, и поднялся на эстраду. Все встали, как один человек, и начался обряд коронования.

Благородные звуки неслись, разливаясь роскошной волной под сводами собора, и вот Тома Канти торжественно усадили на трон. Старинные обряды совершались своим чередом, величественные и торжественные; зрители с благоговением смотрели и слушали, и чем ближе церемония подходила к концу, тем бледней и бледней становился Том Канти, тем больней укору совести грызли его наболевшее сердце, тем тяжелей становилось у него на душе.

Но вот наконец наступил и последний акт священной церемонии. Архиепископ Кентерберийский взял с подушки английскую корону и поднял ее над головой трепещущего мнимого короля. В тот же миг вся северная галерея вспыхнула пестрой радугой: все огромное собрание знати, как по команде, приподняло над головами свои короны и замерло в этой позе.

Наступила глубокая тишина. В эту торжественную минуту на сцене появился новый актер. Поглощенные церемонией зрители заметили его только тогда, когда он уже вступил в главный придел. Это был мальчик в грубых плебейских лохмотьях, в рваных башмаках, с непокрытой головой. Жестом, полным величия, плохо вязавшимся с его наружностью оборванца, он поднял руку и торжественно произнес:

– Я запрещаю возлагать корону Англии на эту вероломную голову. Король – не он, а я!

В один миг несколько рук протянулось, чтобы схватить оборванца, но Том Канти в своем королевском одеянии бросился вперед и крикнул

громким голосом:

– Назад! Не троньте его! Он в самом деле король.

Изумление, граничащее с паникой, охватило собрание: большинство вскочило с мест, с недоумением переглядываясь или уставившись оторопело на действующих лиц этой сцены; никто не понимал, во сне или наяву он все это видит. В первую минуту лорд-протектор оторопел не менее других, но сейчас же оправился и закричал повелительным голосом:

– Не слушайте короля! Его Величество опять занемог. Схватите бродягу!

Многие бросились исполнять приказание, но мнимый король топнул ногой и прокричал:

– Под страхом смерти запрещаю трогать его! Он – король.

Все руки мгновенно опустились. Столбняк охватил все собрание. Никто не мог ни двинуться, ни вымолвить слова, никто не знал, что делать, что сказать, – так поразительно, так необычайно было все происшедшее. Пока все стояли пораженные, не в силах собраться с мыслями, мальчик все подходил решительным, самоуверенным шагом, с гордым, полным достоинства выражением лица. Никто и опомниться не успел, как он поднялся на эстраду. Мнимый король радостно кинулся к нему навстречу, упал перед ним на колени и сказал:

– Всемиловитейший государь! Позволь бедному Тому Канти первому присягнуть тебе в верности и сказать: «Возложи свою корону и возьми обратно власть, которая принадлежит тебе по праву».

Гневный взгляд протектора обратился на дерзкого прищельца, но в тот же миг выражение гнева на его лице сменилось выражением неопишемого изумления. Та же мгновенная метаморфоза произошла и с остальными царедворцами. Они с недоумением переглянулись и бессознательно попятились назад; их оторопелые взгляды говорили: «Какое странное сходство!»

С минуту лорд-протектор стоял, по-видимому, в нерешительности, затем, обратившись к мальчику, сказал почтительным тоном:

– Не позволите ли вы мне предложить вам несколько вопросов?

– Спрашивайте, милорд. Я готов отвечать.

Герцог задал ему несколько вопросов о дворе, о покойном короле, о принце, принцессах, и мальчик на все отвечал без запинки. Он подробно описал приемные комнаты во дворце, апартаменты покойного короля и принца Валлийского.

«Странная, удивительная, необычайная вещь», – говорили все в один голос. Ветер начинал менять направление, к великой радости Тома, как

вдруг лорд-протектор покачал головой и сказал:

– Все это поразительно – нельзя не сознаться, но ведь и Его Величество, наш король, может не хуже ответить на эти вопросы. Нет, это еще не доказательство, – добавил он с убеждением, и Том почувствовал, что почва снова ускользает из-под его ног. Ветер снова переменялся: теперь он был опять неблагоприятен для мнимого короля. Бедный мальчик очутился на своем троне, как рак на мели, тогда как того, другого, уносило течением в открытое море. Лорд-протектор покачивал головой и думал: «Надо разрубить этот гордиев узел. Тянуть дольше значит подвергать опасности и себя, и все государство; это поведет только к междоусобице и может даже грозить неприкосновенности престола...» И, повернувшись к одному из вельмож, он сказал:

– Сэр Томас, арестуйте его... Впрочем, постойте. Где государственная печать? – вдруг обратился он с просиявшим лицом к оборванцу-претенденту. – Ответь мне правильно, и загадка разгадана, ибо один только принц Валлийский может ответить на этот вопрос. – Вот от каких ничтожных вещей зависит иногда участь династии и престола!

Это была удачная, счастливая мысль, – таково было всеобщее мнение: государственные сановники многозначительно переглянулись, безмолвно одобряя ее. Да, разумеется, никто, кроме принца Валлийского, не мог разрешить неразрешимой загадки исчезновения государственной печати. Как бы твердо ни вызубрил свой урок маленький самозванец, на этом он сорвется, ибо на это не сможет ответить даже и тот, кто его подучил. «Прекрасная, превосходная мысль! Теперь мы живо покончим с этим опасным и хлопотливым делом». И все кругом с довольным видом чуть заметно кивнули головой, радуясь в душе, что наконец-то сумасбродный мальчишка вынужден будет сдаться и сознаться в своем обмане. Но каково же было всеобщее изумление, когда ничего подобного не случилось. Все просто остолбенели, когда мальчик сказал твердым, уверенным голосом:

– Ответить на ваш вопрос вовсе уж не так мудрено.

С этими словами он обернулся к одному из вельмож и сказал решительным тоном человека, привыкшего повелевать:

– Милорд Сент-Джон, ступайте в мой кабинет во дворце, – никто не знает его лучше вас, – и там у самого пола, в углу, налево от входной двери вы найдете в стене маленькую медную пуговку; нажмите ее, и перед вами откроется потайной шкафчик, о существовании которого никто не знает, кроме меня да надежного рабочего, сделавшего его для меня. Первое, что вам бросится в глаза, будет государственная печать, – принесите ее сюда.

Собрание только диву далось при этих словах; особенно же всех

поразило то обстоятельство, что маленький оборвыш так уверенно обратился именно к этому вельможе из всех и назвал его по имени, как будто был с ним с детства знаком. Сам лорд Сент-Джон был до того озадачен, что чуть было не пошел исполнять приказание. Он даже сделал движение, собираясь идти, но сейчас же принял прежнюю спокойную позу, и только легкая краска в лице выдала его маленький промах.

– Что же вы медлите? – обратился к нему резким тоном Том Канти. – Разве вы не слышали приказания короля? Ступайте!

Лорд Сент-Джон отвесил глубокий поклон, отличавшийся, как это было всеми замечено, удивительной осторожностью (это был нейтральный поклон, сделанный по направлению, среднему между двумя мальчиками, так что каждый из них мог принять его на свой счет), – и удалился.

Тогда в блестящей группе царедворцев началось движение – медленное, едва уловимое, но непрерывное и неуклонное, – вроде того, какое наблюдается в калейдоскопе, когда его тихонько поворачивают и когда частички одной блестящей фигуры распадаются и постепенно группируются в новую замысловатую фигуру, вокруг нового центра. Совершенно однородное с этим движение разъединило теперь блестящую толпу, группировавшуюся вокруг Тома Канти, и постепенно сконцентрировало ее вокруг пришельца. Том Канти остался почти совсем один. Наступила минута неприятного ожидания; мало-помалу даже то крохотное меньшинство малодушных людей, которое еще держалось мнимого короля, набралось мужества и по одному, по два человека, незаметно присоединилось к большинству, так что фигура Тома Канти, в богатом наряде, вся залитая драгоценными камнями, осталась совершенно одинокой среди пустого пространства. Картина была красноречивая.

Но вот в глубине среднего придела показался лорд Сент-Джон. Волнение и любопытство ожидающих достигли крайних пределов; тихий говор разом смолк, и наступила глубокая, могильная тишина, среди которой лишь гулко раздавались приближающиеся шаги царедворца. Все глаза были прикованы к нему, когда он подходил. Он поднялся на эстраду, приостановился на один миг и затем решительным шагом двинулся к Тому Канти.

– Государь, печати там нет, – сказал он с низким поклоном.

Толпа невежественной черни не отскочила бы так стремительно от зачумленного, как отскочила эта испуганная толпа царедворцев от маленького оборванца-претендента. В один миг он остался один, без друга, без поддержки; в один миг он сделался мишенью для перекрестного огня презрительных, яростных взглядов.

– Вышвырнуть бродягу на улицу и прогнать плетью по всему городу! – приказал разгневанный лорд-протектор. – Это будет ему вполне по заслугам!

Телохранители бросились было исполнять приказание, но Том Канти остановил их быстрым движением руки.

– Назад! – крикнул он. – Кто тронет его, поплатится жизнью!

Лорд-протектор был в полном недоумении, как ему поступить.

– Хорошо ли вы искали? – спросил он лорда Сент-Джона. – Впрочем, бесполезно и спрашивать. Все это странно, в высшей степени странно... Маленькие вещи, безделки часто теряются, и это никого не удивляет, – оно и понятно; но каким образом могла пропасть такая объемистая вещь, как государственная печать, – массивный золотой кружок...

– Стойте! Довольно! – закричал со сверкающими глазами Том Канти, бросаясь к лорду-протектору. – Вы говорите – кружок? Золотой и тяжелый? – и на нем еще выгравированы какие-то буквы и девизы? Да? Ну, теперь я понимаю, что за штука эта ваша государственная печать, из-за которой было столько переполоха. Так бы давно и сказали; я бы вам ее отдал три недели назад. Я знаю, где она, но не я первый туда ее положил.

– Так кто же, государь? – спросил лорд-протектор.

– Законный король Англии, – тот, кто стоит перед вами. Пусть он сам вам скажет, где лежит печать; тогда вы поверите, что он настоящий король. Подумайте, государь, постарайтесь припомнить: это было последнее – самое последнее, что вы сделали перед тем, как убежали из дворца в моем платье, чтобы наказать часового, который обидел меня.

Настала мертвая тишина; под высокими сводами храма не слышно было ни звука, ни шороха; все глаза впились в лицо пришельца, который стоял, понутив голову, и, наморщив лоб, перебирал в памяти всю массу своих впечатлений того дня, силясь припомнить один крохотный факт, как назло, ускользавший. От успеха его усилий зависело, возвратит ли он себе отцовский престол или останется тем, чем он был теперь, – нищим и презренным отверженцем. Время шло, секунды превращались в минуты, а мальчик все стоял в глубоком раздумье. Наконец он вздохнул, покачал головой и дрожащим голосом, с отчаянием, произнес:

– Я старался припомнить и, кажется, вспомнил все до мельчайших подробностей, но они не имеют никакого отношения к печати. – Он помолчал, посмотрел на присутствующих и добавил с кротким достоинством:

– Милорды и джентльмены, если вы хотите отнять у вашего государя его законные права только потому, что он не может представить вам этого



доказательства, – я не могу бороться с вами, я тут бессилен. Но...

– Это невозможно! Это безумие, государь! – воскликнул в ужасе Том Канти. – Подождите! Подумайте! Не сдавайтесь! Дело еще не потеряно. Вы наверное вспомните... Слушайте, что я буду говорить, – вслушивайтесь в каждое слово, я постараюсь напомнить вам то утро, расскажу по порядку все, как было... Мы с вами разговорились; я рассказывал вам о своих сестрах Бетти и Нани... я вижу, это вы помните. Потом я говорил о своей бабушке, об играх моих оффаль-кордских друзей... Вот видите, вы помните и это. Отлично, слушайте же внимательно, и вы непременно вспомните все. Вы накормили и напоили меня, затем с истинно царским великодушием выслали слуг, чтоб я не стыдился перед ними своей невоспитанности... И это вы помните?

Пока Том перечислял все эти подробности, а другой мальчик в ответ ему кивал головой, блестящее собрание смотрело на них в полном недоумении. Рассказ звучал так правдиво... А между тем каким образом могло произойти это невероятное стечение обстоятельств? Как и где мог сблизиться наследный принц с маленьким нищим? Никогда еще, кажется, ни одно собрание не было до такой степени поражено и заинтересовано.

– Вам вздумалось ради шутки поменяться со мною платьем, государь. И когда мы с вами стали перед зеркалом, мы были до того похожи, точно и не переодевались совсем. И вы, и я сказали это тогда в один голос, помните? Тут вы заметили мою ушибленную руку... Смотрите: синяк и теперь еще виден; я до сих пор не могу писать: пальцы не гнутся... Пылая благородным негодованием, Ваше Величество вскочили, крича, что вы накажете бесчеловечного солдата, бросились к двери и, пробегая мимо стола, захватили вот эту самую вещь, которая зовется государственной печатью (она лежала на столе). Вы схватили ее и стали нетерпеливо осматриваться, отыскивая глазами, куда ее положить. Тут вы увидели...

– Довольно! Я вспомнил! Слава и благодарение Богу! – воскликнул в страшном волнении оборвыш-претендент. – Ступайте, мой добрый Сент-Джон; в рукавице моей миланской брони, что висит на стене, вы найдете печать.

– Так, так, государь! – радостно воскликнул Том Канти. – Теперь скипетр Англии опять ваш по праву, и лучше бы тому не родиться на свет, кто вздумает у вас его оспаривать. Идите же, милорд Сент-Джон, бегите, летите и возвращайтесь скорей!

Все собрание было теперь на ногах и потеряло голову от беспокойства и волнения. В воздухе стоял глухой гул голосов; некоторое время никто ничего не понимал, никто ничего не слышал и не слушал; все говорили –

сразу, крича и перебивая друг друга. Никто не замечал, как летит время. Но вдруг опять все смолкло: на эстраде показался Сент-Джон. В поднятой над головой руке он держал государственную печать.

– Да здравствует король! – прокатился оглушительный крик.

Минут пять воздух дрожал от восторженных криков и грома оркестра и колыхался белыми волнами от неистово машущих платков, и среди этой бури восторга, в центре широкой эстрады, окруженный толпою коленопреклоненных вассалов, счастливый, гордый, раскрасневшийся и сияющий, стоял маленький оборвыш – король Англии.

Наконец все поднялись на ноги, и Том Канти воскликнул:

– А теперь, государь, возьмите назад ваши царские одежды и отдайте бедному Тому, вашему верному слуге, его лохмотья.

– Взять маленького негодяя, наказать его плетью и заключить в Тауэр! – приказал лорд-протектор.

Но новый король – настоящий король – сказал:

– Нет, я этого не допущу. Если бы не он, мне никогда бы больше не видеть моей короны, и я никому не дам обидеть его. А от тебя, мой добрый дядя, милорд-протектор, я не ожидал такой неблагодарности. Говорят, этот бедный мальчик пожаловал тебя герцогом (протектор покраснел). Но ведь он не был королем: чего же теперь стоит твой титул? Завтра же ты будешь ходатайствовать у меня об утверждении тебя в твоём новом звании и ходатайствовать через посредство этого мальчика, иначе тебе придется распрощаться с твоим герцогством и ты останешься, как был, – просто графом.

После такого нагоняя его светлости герцогу Сомерсету оставалось только ретироваться в задние ряды. А король повернулся к Тому и ласково сказал:

– Как это ты вспомнил, милый мальчик, куда я засунул печать, когда я не мог вспомнить и сам?

– Тут нет ничего удивительного, государь: я часто ею пользовался все эти дни.

– Часто пользовался государственной печатью? Но в таком случае, как же ты не знал, где она?

– Я только не знал, что именно ее они ищут. Я не знал, что это государственная печать, государь.

– Но тогда что же ты с нею делал?

Все лицо Тома залило ярким румянцем; он потупил глаза и молчал.

– Отвечай же, не бойся, дружок, – промолвил король. – Как ты пользовался государственной печатью Англии?

Том колебался с минуту, но наконец, собравшись с духом, отвечал едва слышно:

– Я колол ею орехи!

Бедный мальчик! Дружный взрыв хохота, бывший ответом на эти слова, чуть не сшиб его с ног, – до того он был сконфужен. Зато если в ком еще оставалось сомнение, действительно ли Том Канти не настоящий король, – этот наивный ответ разом его уничтожил.

Тем временем с Тома сняли королевскую мантию накинули ее на плечи королю, и она скрыла его лохмотья. Обряд коронации начался заново. На голову законного короля торжественно возложили корону, и оглушительные пушечные залпы возвестили ликующему Лондону о великом событии.

## Глава XXXIII

### Эдуард – король

Наружность Майльса Гендона была достаточно живописна еще до свалки на Лондонском мосту; теперь она стала еще живописнее. И раньше денег у него было немного – теперь не оставалось ни гроша. Карманные воришки обчистили его до последнего фартинга.

Но это все пустяки, лишь бы мальчик нашелся! Как истый воин, Гендон не растерялся и, не откладывая дела в долгий ящик, прямо приступил к обсуждению плана кампании.

Как должен поступить мальчуган в этом случае? Что он предпримет? Разумеется, прежде всего отправится на свое старое пепелище, рассуждал Майльс, куда его непременно потянет бессознательный инстинкт всякого покинутого, бесприютного человека, будь то человек в здравом уме и твердой памяти или с поврежденным рассудком. Но как узнать, где он прежде жил? Лохмотья мальчугана, да и речи того негодяя, который, по-видимому, близко его знал и даже выдавал себя за его отца, указывали на то, что он жил в одном из самых бедных и глухих закоулков Лондона. Трудно ли будет его найти и долго ли придется искать? Нет конечно, и не трудно, и не долго. Нечего и разыскивать самого мальчугана, надо искать толпу: рано или поздно он наверно встретит своего маленького друга, окруженного большею или меньшею толпой, в которой он окажется мишенью для насмешек и грубых издевательств, потому что он, разумеется, на преминет, по своему обыкновению, выдать себя за короля, и ему, Майльсу, придется расправиться с негодяями по-свойски; тогда он отнимет своего маленького питомца, утешит и приласкает его и уж конечно никогда больше с ним не расстанется.

Итак, Майльс пустился на поиски. Часы шли за часами, а он все бродил по самым глухим улицам и закоулкам, беспрестанно натываясь на какое-нибудь сборище, но нигде не находя даже и следов пропавшего мальчика. Это очень его удивляло, однако он не терял мужества. По его мнению, план кампании был у него правильный; одно только он плохо рассчитал: кампания грозила затянуться надолго, а он надеялся, что живо кончит ее.

Наконец стало светать. Гендон исходил не одну милю, повстречал не одну толпу людей; но кроме того, что он страшно устал и проголодался, да

что его стало сильно клонить ко сну, – он не добился никаких результатов. Он был бы очень не прочь позавтракать, но для него это было неисполнимой мечтой. Просить милостыню ему еще никогда не случалось, а заложить меч – значило для него расстаться с честью; правда, он мог бы легко обойтись без какой-нибудь принадлежности своего туалета, да вот беда: где найти дурака, который польстился бы на такое тряпье?

Было уже около полудня, а Гендон все еще оставался на ногах и брел за толпой, тянувшейся за королевской процессией. Он проследовал вместе с шествием по всем извилистым закоулкам Лондона вплоть до аббатства. Он протискивался то назад, то вперед, задыхаясь в тесноте и давке, и наконец, усталый и огорченный, выбрался на простор и побрел прочь, крепко задумавшись над тем, что ему теперь делать. Очнувшись наконец от своего раздумья, он заметил, что уже смеркалось и что город остался далеко позади. Перед ним была река, кругом возвышались богатые загородные коттеджи, – надо признаться, неподходящее место для такого оборванца, как он.

Нечего было и думать искать здесь приюта; а так как погода была не холодная, то Майльс, недолго думая, растянулся прямо на земле, чтобы немножко отдохнуть и на досуге хорошенько обо всем поразмыслить. Неодолимая дремота сейчас же овладела им, и когда до него донесся отдаленный грохот орудий, он подумал: «Коронация кончилась!» – и с этой мыслью крепко уснул. Он не только не спал, но даже ни разу не присел в продолжение почти тридцати часов кряду, а потому неудивительно, что теперь он проспал всю ночь напролет и проснулся только на другой день поздно утром.

Он встал весь разбитый и страшно голодный, умылся в реке, подкрепился несколькими глотками воды и опять побрел по направлению к Вестминстеру, сердясь на себя за такую напрасную потерю времени. Голод живо заставил его изменить прежний план. Теперь он решил немедленно идти к сэру Гумфри Марло и признаться у него немного деньжонок, а там... Впрочем, пока это было главное, а там уже будет видно, что делать.

Часов около одиннадцати он уже подходил ко дворцу. Несмотря на то, что улицы были запружены народом, двигавшимся в одном с ним направлении, Майльса тотчас заметили благодаря его необыкновенному костюму. Он остановился в толпе, собравшейся перед дворцом, всматриваясь в лица соседей, в надежде найти сострадательную душу, к которой бы он мог обратиться с просьбой передать его фамилию старому царедворцу. Сам он не рассчитывал проникнуть во дворец – об этом не могло быть и речи.

В эту минуту мимо него прошел наш старый знакомый, тот мальчик, которого наказывали за провинности принца. «Голову отдам на отсечение, что это тот самый бродяга, о котором Его Величество изволил так беспокоиться, – подумал мальчик, оборачиваясь и вглядываясь в странную фигуру Гендона. – Все приметы налицо: как есть воронье пугало! Не может быть, чтобы премудрый Господь создал на свет два таких чудища; это было бы совершенно излишним повторением. Какой бы придумать предлог, чтобы с ним заговорить?»

Но тут сам Майльс Гендон вывел его из затруднения. Обернувшись назад, как это всегда бывает с человеком, когда на него пристально смотрят, и встретившись с устремленным на него в упор любопытным взглядом мальчика, он подошел к нему и сказал:

– Вы вышли сейчас из дворца; не во дворце ли вы живете?

– Во дворце, сударь.

– Не знаете ли вы сэра Гумфри Марло?

Мальчик вздрогнул: «Господи, он спрашивает о покойном отце! – подумал он и ответил: – Знаю, сударь».

– Вот и чудесно... А что, он дома?

– Да, дома, – отвечал мальчик, а про себя добавил: «Как же, дома, – в своей домовине!»

– Могу я просить вас передать ему мою фамилию и сказать, что мне бы хотелось повидать его?

– С удовольствием готов исполнить ваше поручение, сударь.

– В таком случае потрудитесь сказать ему, что его желает видеть Майльс Гендон, сын сэра Ричарда. Вы меня очень обяжете, мой милый.

«Его Величество называл его, кажется, иначе, – с разочарованием подумал мальчик, – впрочем, не большая беда: это, наверное, его брат-близнец, и, без сомнения, он может сообщить государю подробные сведения о том, другом, чудаке».

– Обождите меня вон там, сударь, – сказал он вслух, обращаясь к Майльсу, – пока я принесу вам ответ.

Гендон отправился к указанному месту. Это была глубокая ниша в дворцовой стене, с высеченной в ней каменной скамьей; здесь укрывалась от непогоды дворцовая стража. Но не успел он присесть, как мимо прошел отряд алебардчиков под командой офицера. Офицер заметил его, остановил своих солдат и подозвал его к себе. Майльс подошел и был тут же арестован в качестве подозрительной личности. Дело начинало принимать скверный оборот. Бедный Майльс хотел было объясниться, но офицер грубо прикрикнул на него и велел своим солдатам обезоружить его

и обыскать.

– Помогите вам Бог найти что-нибудь, – печально сказал бедный Майльс, – только вряд ли вам это удастся. Уж я ли себя не обыскивал, – да и то ничего не нашел.

Действительно, в его карманах не нашли ничего, кроме какой-то бумаги. Офицер сейчас же ее развернул, и Гендон улыбнулся, узнав в ней те самые «каракульки», над которыми его бедный маленький друг так трудился в тот злосчастный день в Гендон-Голле. Лицо офицера потемнело как туча, пока он читал вслух английский текст бумаги, а бедный Майльс, слушая его, побледнел как мертвец.

– Час от часу не легче. Еще новый претендент на престол! – воскликнул офицер. – Право, их нынче развелось, что мышей! Держите негодяя, ребята, да глядите за ним в оба, покуда я схожу передать этот драгоценный документ королю.

И он быстрым шагом направился ко дворцу, оставив пленника на попечение своих верных солдат.

«Ну, теперь, видно, пришел конец моим бедам, – подумал Гендон, – возьмут меня, раба Божия, да и вздернут без дальних рассуждений... А все эта проклятая бумажонка! Что-то станет с моим бедным мальчиком – одному Богу известно».

Наконец показался офицер; по-видимому, он страшно спешил. Гендон собрал все свое мужество, чтобы встретить беду, как подобает мужчине. Офицер приказал солдатам немедленно выпустить пленника и отдать ему его меч; затем, обратившись к нему, сказал с глубоким поклоном:

– Не угодно ли вам будет следовать за мной?

Гендон повиновался. «Если б я не шел на верную смерть и не боялся бы греха, уж сумел бы я тебя проучить за твое издевательство», – думал он.

Они прошли запруженный народом двор и направились к главному дворцовому входу, где офицер с новым низким поклоном передал Гендона с рук на руки какому-то нарядному царедворцу. Этот, в свою очередь отвесив низкий поклон, повел его через огромные парадные покои, где, выстроившись в две длинные шеренги, стояли великолепные дворцовые лакеи. Пока Гендон со своим провожатым проходил мимо них, лакеи низко кланялись, но как только он повернул им спину, они принялись втихомолку хихикать над величественной осанкой «вороньего пугала». Из передней офицер и Гендон вышли на широкую лестницу, где толпились нарядные царедворцы, и наконец очутились в огромной парадной зале, битком набитой высшей английской знатью. Здесь офицер проложил Гендону дорогу, напомнил ему, с новым низким поклоном, чтобы он снял шляпу, и

оставил его одного среди залы. Изумленные взгляды присутствующих немедленно обратились на эту странную фигуру: кто презрительно улыбался, кто с недоумением пожимал плечами, кто сердито косился, оглядывая неизвестного чудака.

Майльс Гендон совсем опешил. Прямо перед ним, под роскошным балдахином, на возвышении в пять ступеней сидел молодой король и, слегка склонив голову, беседовал с какой-то райской птицей в человеческом образе – «уж по крайней мере с графом, если не с самим герцогом», подумал перепуганный Майльс. «Господи, и без того тяжко расставаться с жизнью в цвете лет, а тут еще это публичное унижение! Уж хоть покончили бы разом», – говорил он себе, ежась под устремленными на него недоброжелательными взглядами. В эту минуту король поднял голову. Майльс чуть не ахнул, – как стоял, так и замер на месте, уставившись на это юное прекрасное лицо.

«Да что это, грежу я, что ли? – пробормотал он наконец. – Король царства грез на своем троне!»

Как очарованный, он долго был не в силах оторвать глаз от поразившего его молодого лица; потом обвел недоумевающим взглядом роскошную залу, нарядную толпу, и опять прошептал:

«Но нет, – это действительность; ведь я не сплю и, значит, не грежу».

И он опять впился в лицо короля. «Сон это, или он в самом деле король, владыка Англии, а вовсе не несчастный безумный бродяга, за которого я его принимал? Кто разрешит мне этот вопрос?»

Но вдруг лицо его просияло – у него мелькнула счастливая мысль. Он подошел к стене, взял стул, поставил его посреди залы и сел.

По зале прошел глухой ропот негодования; чья-то рука опустилась на плечо дерзкого, и сердитый голос сказал:

– Встань, шут! Как ты смеешь сидеть в присутствии короля!

Поднявшаяся суматоха привлекла внимание короля; он протянул руку и воскликнул:

– Оставьте его, это его право!

Изумленная толпа расступилась, и король продолжал:

– Знайте все, – леди, лорды и джентльмены, – что это мой верный и любимый слуга Майльс Гендон. Своею доблестной шпагой он спас своего государя от опасности, а может быть, и от смерти, – и за это пожалован в рыцари самим королем. Знайте также, что он оказал своему государю еще и другую, гораздо более важную, услугу: ценою собственного позора он спас его честь, избавив его от плетей. За это мы жалуем его званием пэра Англии, графа Кентского, и дарим ему поместья и доходы,



соответствующие его высокому титулу. Более того, в знак особого отличия и нашего к нему благоволения ему даруется привилегия сидеть в присутствии короля Англии, и эта привилегия будет переходить к старшему из его потомков, из рода в род, отныне и вовеки, покуда существует английский престол. Такова воля короля!

В зале присутствовали две особы, опоздавшие на коронацию и только поутру прибывшие в Лондон. Они вошли в зал несколько минут тому назад и, совершенно опешив, глядели то на короля, то на сидящее посреди залы «воронье пугало». Это были сэр Гуг и леди Эдифь. Но вновь испеченный граф их не видел. Он все еще не мог собраться с мыслями и, по-прежнему не сводя глаз с короля, бормотал:

«Господи, спаси и помилуй! А я-то принимал его за нищего, за сумасшедшего бродягу! Я-то, дурак, думал его удивить своим богатством, своим домом, своими семьюдесятью комнатами и двадцатью семью слугами! Я воображал, что он нищий, ничего не видевший на своем веку, кроме нужды и побоев! Я хотел его усыновить и сделать из него человека! О Господи, куда мне деваться теперь от стыда!»

Наконец он опомнился. Опустившись перед королем на колени, он схватил его руку и, покрывая ее поцелуями, стал благодарить за оказанные ему великие милости. Потом он встал и почтительно отошел в сторону. Все взгляды были по-прежнему устремлены на него, но теперь уже с завистью и с глубоким почтением.

Но вот король заметил сэра Гуга. Глаза его сверкнули, и он заговорил гневным голосом:

– Отберите у этого разбойника его краденое богатство и титул и заключите его в тюрьму, пока я не потребую его к ответу!

Бывший сэр Гуг был немедленно удален.

Тут в противоположном конце залы произошло какое-то движение; толпа расступилась, и между двух рядов блестящих вельмож показался Том Канти в богатом и оригинальном наряде. Он приблизился к трону и преклонил колени.

– Я узнал всю историю этих последних трех недель и очень тобою доволен, – сказал ему ласково король. – Ты управлял государством с истинно царским великодушием и милосердием. Нашел ли ты свою мать и сестер? Я о них позабочусь, а отца твоего велю повесить, если ты этого пожелаешь и разрешит закон. Слушайте и знайте все, здесь присутствующие: отныне сироты, содержащиеся щедротами короля в Приюте Христа, будут получать не только телесную пищу, но и необходимую для человека пищу духовную, и Приют будет домом этого

юноши до конца его дней, – домом, где он займет почетное место среди уважаемых воспитателей юношества. В воспоминание же того, что он был королем, мы хотим, как и подобает, его отличить. Видите ли вы его наряд? – Этот наряд отныне присвоен ему одному, и никто не имеет права ему подражать. Где бы он ни появился, его костюм будет напоминать народу, что он был королем, и каждый будет обязан поклониться ему и оказать почтение. Отныне он состоит под особым нашим покровительством, в знак чего мы жалуем его титулом «Королевского воспитанника».

Счастливым и гордым, Том Канти поцеловал руку королю, поднялся с колен и вышел из залы. Не теряя ни минуты, он полетел к своей матери – поделиться с нею и с сестрами своею великой радостью.

## **Заключение**

### **Правосудие и возмездие**

Когда все тайны наконец разъяснились, из признаний Гуга Гендона оказалось, что Эдифь в тот достопамятный день в Гендон-Голле отреклась от Майльса по его, Гуга, приказанию. Он сам сознался, что подкрепил это приказание угрозою лишить жену жизни в том случае, если бы ей вздумалось ослушаться. Эдифь отвечала ему, что жизнью она не дорожит и готова умереть, но от Майльса не отречется. Тогда Гуг пригрозил, что убьет самого Майльса. Это меняло дело. Эдифь дала мужу требуемое обещание и сдержала его.

Гуг не был предан суду за то, что завладел чужим богатством и титулом, потому что жена и брат отказались давать против него показания. Эдифь ни за какие блага в мире не согласилась бы свидетельствовать против мужа или бросить его. Но Гуг сам ее бросил и бежал на континент, где вскоре и умер.

Спустя некоторое время граф Кентский женился на вдове брата. Тот день, когда молодые в первый раз посетили свое наследственное поместье, был днем ликования для обитателей деревни и замка.

Об отце Тома Канти никто больше не слышал: он пропал, точно в воду канул.

Король велел разыскать того фермера, который так несправедливо пострадал и был продан в рабство; он простил ему его сообщничество с шайкой разбойников и дал ему возможность вести честную и безбедную жизнь.

Он приказал также освободить из тюрьмы старика законоведа и отменил наложенную на него пеню. Он позаботился о судьбе дочерей двух несчастных баптисток, сожженных на костре на его глазах, и велел строго наказать чиновника, допустившего незаслуженное наказание Майльса Гендона.

Он спас от виселицы мальчишку-подмастерья, который был осужден за поимку чужого сокола; помиловал полоумную женщину, укравшую сукно у ткача; но ему не удалось спасти человека, приговоренного к смерти за охоту в королевском лесу: несчастный был уже казнен...

Он оказал покровительство судье, пожалевшему его, когда его обвинили в краже поросенка, и был вознагражден за свое доброе дело,

когда увидел, что с течением времени этот судья снискал общее уважение и любовь.

Всю свою жизнь король любил вспоминать и рассказывать свои приключения, начиная с того момента, когда часовой вытолкнул его из дворцовой ограды, вплоть до последней ночи, когда, вмешавшись в толпу рабочих, он незаметно пробрался в аббатство и спрятался в гробнице Эдуарда Исповедника, где проспал почти сутки и проснулся как раз вовремя, чтобы остановить последний обряд коронации. Он всегда говорил, что пережитые им испытания были для него драгоценным уроком, – уроком, которым он постарается воспользоваться на благо своего народа. А так как он всю свою жизнь любил вспоминать эту историю и она всегда была свежа в его памяти, – источник милосердия никогда не иссякал в его сердце.

Майльс Гендон и Том Канти остались любимцами короля во все время его короткого царствования и горько оплакивали его смерть. Всеми уважаемый граф Кентский имел слишком много здравого смысла, чтобы злоупотреблять своей привилегией; но все-таки, кроме только что описанного нами первого раза, он ею воспользовался дважды в своей жизни: в первый раз при восшествии на престол королевы Марии, во второй – при восшествии на престол королевы Елизаветы. Один из его потомков воспользовался ею при восшествии на престол Иакова I. После того прошло около четверти века, и «привилегия графов Кентских» мало-помалу была всеми забыта, так что, когда один из членов этой фамилии, явившись ко двору Карла I, вздумал было сесть в присутствии короля, чтобы восстановить права своего рода, поднялся целый переполох. Но дело выяснилось, и привилегия была утверждена заново. Последний граф Кентский пал в одной из междоусобных войн, сражаясь за короля, и вместе с родом графов Кентских кончилась их странная привилегия.

Том Канти дожил до глубокой старости и превратился в красивого, седого как лунь, почтенного и добродушного старика. До самой смерти пользовался он почетом и уважением, и так как он навсегда сохранил данный ему в отличие костюм, то где бы он ни появлялся, все его сейчас же узнавали и шептали друг другу: «Шапку долой, это королевский воспитанник!» – и народ обнажал головы, а старик ласково отвечал на приветствия, и все это очень ценили, ибо всегда с благодарностью вспоминали короткий период его правления.

Бедняжка король Эдуард VI процарствовал очень недолго, но его короткое царствование было поистине славным. Не раз случалось, что кто-нибудь из знатных царедворцев начинал доказывать молодому королю, что

его милосердие граничит со слабостью, что законы и без того слишком мягки, что никого они не гнетут и не заставляют страдать сверх меры. Тогда король обращал на говорившего красноречиво-грустный взгляд своих больших добрых глаз и отвечал:

– Что ты понимаешь в страдании! Много ли ты знаешь о гнете? Я да мой народ знаем и понимаем страдание, но никак уж не ты.

Царствование Эдуарда VI отличалось необыкновенным милосердием по тем жестоким временам. И теперь, расставаясь с маленьким королем, постараемся твердо это помнить, оценивая его благородную личность.

---

|              |
|--------------|
| <b>notes</b> |
|--------------|

## Примечания

**1**

Поднять руки и глаза к небу. (Прим. изд.)

При Генрихе VIII на Лондонском мосту выставлялись головы казнённых.